

Что впереди?

О романе Василия Белова «Все впереди»

Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усилившим наслаждение.

Ф. Достоевский. «Братья Карамазовы»

Время перемен, если это время действий, требует принципиального и требовательного разговора обо всем, в том числе и о литературе.

Давно замечено, что беспристрастная истина кажется неправдоподобной, особенно когда об этой истине долго молчали и истина эта — о народе. Не потому ли первые отзывы критики и читателей на роман Василия Белова «Все впереди» во многом оказались несхожими в оценках, подчас взаимоисключающими. И спокойными их не назовешь. Однако вот что интересно: чем они темпераментнее и даже — злее, тем яснее видно, что за каждым резким суждением — реакция на острое социальное содержание романа.

Говоря иначе, это еще и реакция на то, что писатель особенно обостренно чувствует и переживает в переломные годы, в революционные эпохи. Но изображаемая художником, писателем картина именно на переломе оказывается далеко не всегда созвучной, далеко не всегда соответствует она привычным стереотипам общественной мысли или общественного поступка, не всегда и не легко она доступна пониманию с первого прочтения, с первого взгляда, не всегда и не во всем при этом бывает прав и автор, ведь и он человек, а не бесстрастный компьютер, — лишь со временем многое проясняется, оседает цена несправедливой хулы или незаслуженной славы, а зерна истины, если они есть в произведении, начинают сверкать ярче,

весомее, полновзвучнее становится слово. Поэтому-то и хочется сказать читателю, чтобы не спешил он, скользнув мимолетным взглядом по строчкам, перелистывать страницы, на которых за привычными, легко узнаваемыми поначалу картинками, сценами исподволь проступает новое их понимание, обнаруживаются новые, более глубинные связи и следствия между ними, являются новые вопросы, на которые, быть может, мы еще не готовы ответить. В общем, не торопитесь освистать, ибо сами освистаны будете. Тем более что настоящий писатель, художник по призванию, всегда имеет право если не на безоглядное доверие читателя к себе, к своему таланту, то хотя бы на уважение и внимание к своему слову.

Как отрадно писателю понимание читателя, так радуется и критик, когда находит в статье коллеги подтверждение собственных мыслей, аналогии и суждения, способствующие глубокому, проникновенному пониманию произведения или особенностей литературного процесса.

В этом смысле среди прочих других выступлений в периодике, посвященных анализу романа В. Белова «Все впереди», не могла не привлечь моего внимания статья Дмитрия Иванова в журнале «Огонек» (1987, № 2) — литературные заметки, как определил жанр своей статьи автор, о повести В. Быкова «Карьер», о романах В. Белова «Все впереди» и Ч. Айтматова «Плаха».

Глубоко символичным показалось название статьи Д. Иванова «Что впереди?». Не только и даже не столько потому, что оно совпадало с названием моего послесловия к беловскому роману в «Роман-газете» — заимствования здесь, видимо, исключены, поскольку обе статьи ушли в набор почти в одни и те же сроки, — сколько потому, что разговор о наиболее заметных произведениях последнего времени (включая сюда и повесть «Пожар» В. Распутина, и роман «Печальный

детектив» В. Астафьева) предполагает глубокую заинтересованность в выявлении тех идейно-художественных возможностей, что открываются перед литераторами с наступлением освежающих духовное бытие народа перемен в жизни партии, в жизни общества. Начало этих перемен трудное, очищающее, поэтому все мы с понятной тревогой и надеждой ждем, что будет дальше, все задаемся одним вопросом: что впереди?..

Собственно говоря, уже наш ответ на эти вопросы выявляет нашу позицию, наше активное или пассивное отношение к революционным переменам в стране. Наивно полагать, будто не видно, кто истинно идет в сражение, кто отсиживается за глухим заплотом, а кто-то, против кого направлена своим острием перестройка, уже перехватил пику, встал скоренько под новые знамена и сам уже впереди... — только вот вопрос: с кем воевать будет! Впрочем, вопрос ли?! И литература, независимо от жанров, когда она размышляет над всем этим, тоже оказывается полем боя.

«Художник, именно художник, — подчеркивает Д. Иванов, — настоящий творец — может и должен раньше, сокровеннее, кожей обыкновенного человека и силой таланта чувствовать необходимость и приближение перемен в жизни, постичь их смысл и закономерность, воплотить существенные черты. Ожидание открытий, глубоких, бесстрашных ответов на волнующие вопросы времени — и прежде всего в книгах больших писателей — особенно велико сегодня, когда революционное слово «перестройка» не только у всех на устах, но уже все более ощущается и в конкретных делах. Когда каждому — вольно и невольно — приходится становиться действующим, активным, кровно затронутым лицом такой долгожданной и такой нежданно острой, ранящей умы и сердца, колеблющей положения и авторитеты драмы, разворачивающейся на подмостках самой жгучей современности».

С известной натяжкой здесь можно лишь согласиться с витиеватым (что поделаешь, если человек в простоте слова не скажет), весьма приблизительным сравнением взятой почему-то в кавычки «перестройки» с «драмой на подмостках жгучей современности», мелодраматически «колеблющей положения и авторитеты» — такая оценка заведомо мельчит, занижает значение революционных процессов, с которыми сопряжены интересы не групп и прослоек, но широких народных масс.

Смещение близких как будто, но все же не равнозначных понятий характерно для Д. Иванова и в его рассуждениях о названных выше книгах и авторах. Впрочем, тут, может быть, дело не только в отношении к перестройке. Аберрация критического зрения присуща и всегда, видимо, останется неотъемлемой чертой любого догматизма, стремящегося вогнать литературу в жесткий желоб рационалистических схем и концепций, чем и отличается ныне немалое число статей и рецензий на роман В. Белова «Все впереди».

Декларируя право и обязанность таланта на открытие, на поиск бесстрашных ответов на волнующие вопросы современности, как бы солидаризуясь на глазах читателей с рецензируемыми им авторами, Д. Иванов все же не за ними, писателями, а за собой оставляет категорическое право решать, сделано или не сделано открытие, дан или не дан ответ на «волнующий вопрос». С позволения критика талант должен чувствовать приближение перемен в жизни... «кожей обыкновенного человека», но почему не оставлено таланту его неотъемлемого права на размышления, наблюдения, сомнения, ошибки, наконец, которые сами по себе могут иногда лучше всего и всего нагляднее свидетельствовать как о духовной драме, переживаемой творцом вместе с народом, так и о трагических противоречиях времени, эпохи, что, по ленинской методологии, может стать объективным — в силу художественной

правдивости писателя — (а не субъективным!) отражением реальных процессов и закономерностей общественного развития.

Когда критик судит, а не исследует, его категоричность чревата опасными ошибками. А что может быть непригляднее, непристойнее, чем ввести в заблуждение читателей? И потому отрадно, что, несмотря на резкость критических отзывов, общественное мнение о романе В. Белова «Все впереди» день ото дня меняется к лучшему. Роман сложен, полон раздумий и сомнений, которые как бы подчеркивают остроту социальных противоречий сегодняшней жизни, с безжалостной правдивостью отображенных писателем на страницах отнюдь не пасторального повествования.

В самом деле, рассказ о такой семье, как семья Медведевых, вчера еще дружной, счастливой по общепринятым московским параметрам, радостно устремленной в некое более прекрасное будущее, а сегодня нелепо, непоправимо и словно без особой вины и причины разваливающейся у нас на глазах, вряд ли может быть идиллическим. И не может быть таким, если это рассказ нравственный, — хотя бы из чувства естественного человеческого сострадания к людям, испытывающим боль, муки, унижения.

Но, перебирая мысленно все более усложняющиеся от главы к главе отношения Любы и Дмитрия Медведевых, задумываясь над их отношениями с близкими и друзьями, такими, как бывшие одноклассники Миша Бриш и Славка Зуев, жена Зуева — Наталья, нарколог Иванов, разбирая запутанный клубок случайных и преднамеренных интриг между ними, понимая, что и высокие, и низменные устремления героев психологически оправданны и убедительно мотивированы писателем, о чем свидетельствует и то, что роман прочитывается на одном дыхании, вполне отдавая себе отчет в том, что пошлое, несправедливое, гадкое по намеку, а иногда и просто невысказанное, недосказанное слово

последовательно и направленно работает в романе на раскрытие авторского замысла, все же не можешь отделаться от странного, нарастающего ощущения холода в душе — как будто перед тобой открывается бездна и нога уже занесена над ней...

Впрочем, это ведь эмоциональное впечатление, со временем оно поизгладится, а вот сознание неотвратимости происходящего надолго останется в памяти.

Внешне первая трещинка-паутинка, которая, разрастаясь, послужит причиной драмы, разлома семьи Медведевых, связана, прибегая к известной терминологии, с возобновлением счастливыми супругами контакта с Бришем, с той приятной услугой, какую Бриш, человек связей, оказал Любе — устроил ей туристическую поездку в Париж. Для Любы поездка стала своеобразным испытанием обольстительными соблазнами «свободного мира» Запада. Пошлая шуточка Бриша, адресованная Медведеву еще в шереметьевском аэропорту: «Тебе писать расписку или так обойдешься?» (расписка об отъезжающей Любе. — В. Г.) — на первый взгляд, оказалась пророческой. Но как только разгадываешь за этой пошлостью действительные намерения Бриша, еще более пошлые и казуистские, невольно задумываешься: а не будь этой треклятой турпоездки, разве это изменило бы что-то в корне, если московская мечтательница психологически была расположена и к ухаживаниям случайного попутчика, и к заигрываниям Бриша, и к просмотру «сексувок», и ко многому из того, что, наконец, откроет на нее глаза Медведеву и отворотит его от нее?

Или: что изменилось бы в намерениях Бриша увести Любу от Медведева, не случись, допустим, трагической гибели Грузя и не получи Медведев из-за этого срок? И даже если бы нарколог Иванов не высказал Зуеву своих подозрений в возможной измене Любы, даже если бы эти подозрения в передаче через третьи руки не обрели уверенности факта, разве это предот-

вратило бы внутренний надлом Медведева, для которого, в сущности, важнее была даже не сама измена жены, а понимание ее готовности к измене?

С этим, возможно, не всякий читатель согласится. Ведь измена и готовность к измене, как ни суди, вещи все-таки разные. Однако в романе В. Белова это играет важную роль. Хотя Любе, ее путешествию с тургруппой по Франции и, так и просится сказать, ее похождениям там посвящены многие страницы романа, а возникший на этой почве нравственно-психологический и моральный конфликт ее с Медведевым занимает всего-то около двух страничек печатного текста, на них следует обратить внимание.

Семейный скандал Медведевых оттого занимает немало места в романе, что он весьма типичен и легко узнаваем: так часто ссорятся в семьях, где муж ревнив, а жена блудлива. Или наоборот. Бывает, что такие скандалы, возникшие из-за пустяка или какой-нибудь случайной оговорки, по глупости и упрямству супругов приводят их к разводу. Как это случилось, допустим, с четой Ивановых в том же романе. Из-за пустяка надулись друг на друга, разругались и разошлись, и долгие годы будут так мыкать свое горе, свое одиночество, пока не образумятся, пока не поймут, что в жизни надо не только уважать, не только прощать, а и щадить друг друга. В. Белов не декларирует эту мысль открыто, но в романе, как мы знаем, есть противопоставление Ивановым — семейная пара Зуевых, есть сохраненная, несмотря на все мытарства Натальи и Вячеслава, семья Зуевых. У них причин для развода было более чем достаточно, и семья-то, прямо скажем, далеко не идеальная, но ни Зуеву, ни Наталье в конце концов не откажешь в душевном благородстве, в той душевной щедрости, тепла которой хватает обогреть многие остуженные сердца...

Немало претензий могут предъявить читатели Любе, и будут правы, однако согласимся и с тем, что

для Медведева его подозрения, кроме слухов, ничем не подтверждены. Но кто станет недооценивать силу подозрений в семейных отношениях? Медведев хочет развеять их, он ждет от жены искренности, он жаждет ее, и что же?.. Люба ему улыбается,— улыбка показала Медведеву открытой, хотя автор тут же уточняет, что он, Медведев, «не заметил в этой улыбке крохотного оттеночка снисхождения».

Поскольку проза в данном случае психологическая, то тут не только оттенок, но и оттеночек каждой краски имеет немаловажное значение.

Медведев испытывает ревность, ему непонятна, хотя до боли и осязаема «тайна женского поведения», вдруг почувствованная в жене. Мысль о том, что Люба что-то скрывает, умалчивает о чем-то таком постыдном, что даже догадка об этом «представлялась ему бесконечно низкой, отвратительной, оскорбляющей его и ее», наконец, ощущение ее «злости, рожденной в ней чем-то посторонним, ему неизвестным», злости, как он видел, покорявшей ее все больше и больше,— все это на двух страницах текста сливается для Медведева в такое противоречие мыслей и чувств, что оно вырастает во вселенскую катастрофу», в отчаянье.

Трудно сказать, шадит или не шадит здесь автор своего героя. Во всяком случае, он правдив, это несомненно. «...Тягостная, может быть, непосильная тяжесть ближнего будущего ясно обозначилась для него. «Она просто мне неверна,— четко и отстраненно подумал Медведев.— Это было уже или будет, какая разница?»

Почему «отстраненно» подумал? Да потому, что ситуация очевидна, она неподвластна Медведеву, он ничего не может изменить в ней. Такова реальность, такова жизнь, открывшаяся Медведеву с неожиданной стороны и неприятная ему.

Наступала драма, когда собственная жизнь (и себя,

и Любу Медведев считает ведь за одно целое!) давала трещину в самом надежном, казалось бы, месте: рушилась семья... На поверку, при первом же испытании, оказывалось, что Медведева окружает ложь, обман, боязнь правды — вокруг была стоячая вода, тинистое болото обывательщины. В такой сгущавшейся атмосфере неискренности «нереализованная возможность женской неверности была, по его (Медведева.— В. Г.) мнению, равносильна самой неверности».

Логический ум, произвольная, может быть, склонность к рассудочности не подвели и здесь: вывод Медведева жесток, но безошибочно точен.

Когда в романе на старинные русские земли обрушивается невиданной силы смерч и с корнем валит деревья, срывает крыши с домов, разрывает на части летящие человеческие тела, и они кричат, еще живые, — что нам за дело до отдельных камней: куда, как упадут?

Не из этой ли беловской реальности и символики одновременно является и ощущение неотвратимости происходящего, ощущение драмы, может быть даже мелодрамы, перерастающей в трагедию? Все дело, видимо, в том, что когда социально опасное по своим последствиям общественное явление верно почувствовано и угадано писателем, частные мотивы, ситуации и конкретные проявления его решающего значения, кажется, не имеют. В случае с четой Медведевых они могли быть такими, как они показаны в романе «Все впереди», в другом они могли быть иными, — важно, что неизменным остается общее понимание опасности и тревоги, что из этого понимания является читателю мысль, предупреждающая о причинах если не физического, то нравственного, духовного насилия над человеком в современном мире.

По жанру многие считают «Все впереди» каноническим семейно-бытовым романом. И трактуют так: один увел... другая изменила... третьему на-

били морду...— семейные дразги. Так «подавать» роман во многих отношениях удобно. Канва содержания в таком пересказе очень близка к истинной. Главное же это то, что именно о семейно-бытовом романе возможно резкое расхождение мнений — от восторженных, панегирических, до уничижительных, — тут каждый опытен, каждый сам себе пан. Только вот нельзя, никак не получается, не удастся объяснить всю разногласицу мнений о романе жанровыми, сюжетно-композиционными или стилистическими особенностями прозы В. Белова. В этом смысле вряд ли можно считать, например, серьезными и упреки в антихудожественности, адресованные писателю лишь потому, что в своем новом произведении он выступил с темой, так сказать, городской жизни, явно неожиданной не столько даже для любителей деревенской темы, сколько для тех, кто считает город (Москву! А тем паче — Париж!..) заповедной зоной, отданной на беллетристическое растерзание промышляющим литераторам, кто боится здоровой творческой конкуренции и уже поэтому хочет видеть творчество того же Белова ограниченным рамками сельского быта, романтической деревенской околицей или прозаическим загоном для скота. Дескать, не ходил бы ты, голубок, дальше, чем за три волока, и все было бы хорошо... Но в литературе запретных тем нет. И уж коль скоро даже академическое мнение, траченное и на этот роман, склоняется, едва ли не в тоне беспрекословности, к тому, что из деревенской избы видно многое в мире, многое, но не все, то тем более следовало бы приветствовать и поддержать новаторский, смелый поиск самобытного художника, раздвигающий горизонты и авторского, и читательского восприятия мира.

Но этого не случилось.

Некоторые критики, и среди них такие, как О. Кучкина (газета «Правда»), Н. Иванова и И. Золотусский (журнал «Знамя»), П. Уляшов (еженедельник «Ли-

тературная Россия»), В. Лакшин (газета «Известия»), Д. Иванов (журнал «Огонек»), выступили со своими версиями прочтения романа В. Белова «Все впереди». При всем разнообразии творческих манер и возможностей названных авторов, при всем разнообразии интерпретаций замысла В. Белова и исполнения его в романе, нельзя не заметить, что оппоненты писателя последовательно акцентировали свое внимание на одних аспектах романа и уходили от других, так что у читателей могло сложиться впечатление об идентичности исходных тезисов, взятых критиками в «творческую» разработку.

На грубом языке критики нелицеприятной это значило бы обвинить оппонентов В. Белова в открытой предвзятости к автору и тенденциозном отношении к роману.

Мы далеки от такой мысли. Далеки хотя бы потому, что тенденциозность в выступлениях разных авторов обычно маскируется многозначительной недосказанностью, завуалированными намеками, обвинениями во внеклассовости и групповщине, прикрытыми лозунгами борьбы с этими же самыми пороками... Когда бы все было именно так, то легко было указать на это, как на анахронический пережиток и предать забвению, — так в свое время наделали шума и канули в забвенье резвые голоса категорического неприятия повести «Привычное дело» того же В. Белова, — повести, упоминаемой сегодня ругающими роман В. Белова в назидание автору, упоминаемой как образец советской классики, являющей собой гордость и славу так называемой «деревенской» прозы.

А может быть, в этом-то все и дело?! Как на первых порах непривычным оказалось для читающей публики явление беловского таланта в «Привычном деле», так, может, и теперь требуется время и время, и немалая работа мысли и чувств, чтобы верно оценить и понять идейно-художественное единство нового романа

писателя, романа, являющегося, на наш взгляд, новым достижением отечественной литературы.

Если признать такое предположение вероятным, тогда категорическое неприятие романа отдельными критиками будет объяснимо не негативно-нигилистической заданностью в подходе к роману, сколько, в общем-то, объективной растерянностью критики и ее пока что неспособностью в условиях революционной перестройки общественного сознания оценить роман без предвзятости, с учетом новых возможностей гласности и демократизма, позволяющих писателю говорить о проблемах, которые прежде публичному обсуждению не подлежали. Роман «Все впереди» написан с ощущением именно такого качественно нового уровня разговора о жизни, с осознанным чувством гражданской ответственности писателя.

В разговоре о критике, последовавшей на роман сразу после его журнальной публикации, нельзя обойти молчанием очевидное: судя по всему, изначальный толчок своеобразному прочтению романа дали размышления П. А. Николаева, члена-корреспондента АН СССР, в его теоретической статье «Критика как наука» («Лит. газ.», 1986, № 43).

Он, в частности, писал:

«Но еще более огорчительны те случаи, когда художники и писатели прибегают к неточным интерпретациям воспроизведенного или вообще существующего в мире».

Кажется, в этом кратком, хотя и весьма принципиальном, суждении все бесспорно и верно. Если не считать того, что бесспорность эта зиждется на риторической фигуре умолчания того, что же имеется в виду под «воспроизведенным» художником, под «существующим в мире», и о какой «интерпретации» идет речь.

Однако тезис брошен, как говорится, без права его оспаривания — на веру, а вслед за тем идет его логи-

ческое усиление: от наблюдения — к убеждению. П. А. Николаев продолжает:

«Складывается убеждение: изобразительная сила и конструктивные выводы, понятийный уровень и у некоторых именитых писателей, мягко выражаясь, весьма несхожи. (Этот тезис, как мы увидим, будет использован некоторыми критиками В. Белова едва ли не дословно.— В. Г.). Слабости этого уровня как бы амнистируются или просто замалчиваются восторженной критикой, — продолжает ученый, прозрачно замещая табуированное для его положения понятие «групповой» критики термином «восторженной», что легко расшифровывается по приметам литературной практики последних лет и на что справедливо указывал Ал. Михайлов в статье «Позиция и амбиция» (газета «Правда», 1987, № 30), — что порой приводит этих писателей к спорным суждениям о таких понятиях, как цивилизация и культура, интеллигенция, нравственность, христианство, город и деревня (при всем том, что наши лучшие писатели в последние годы высказали много важных социальных, государственных идей и отстаивали их. Но это не приводит к творческим достижениям (трудно, например, не заметить больших различий между эстетическим и содержательным уровнем «городского» романа В. Белова «Все впереди» и его замечательного «Привычного дела»)).

Не очень-то вразумительно сказано, почему, собственно, если слабости некоего уровня творчества «именитых» писателей амнистируются или замалчиваются «восторженной» критикой, то это должно приводить тех же самых «именитых» писателей «к спорным суждениям о таких понятиях, как...» — и далее по тексту.

Установочная логика ученого дает явный сбой и входит в противоречие с понятиями идейно-художественного поиска художника, с представлениями о его творческой и гражданской активности. Нельзя же, вопреки очевидному, утверждать, будто наши лучшие

писатели высказали и отстаивали «много важных социальных, государственных идей» вне своего творчества. Или, например, художественная проза и публицистика Л. Леонова, Вл. Чивилихина, С. Залыгина, В. Распутина, С. Викулова, И. Васильева, посвященная проблемам сбережения и сохранения русской природы, способствовавшая принятию соответствующих законодательных актов в этой области,— не творчество?! Или «нетворчество» вся «деревенская проза» от Ф. Абрамова и В. Белова до Е. Носова и В. Астафьева, обратившая внимание общества на положение и нужды современной русской деревни, на необходимость принятия правительством экстренных мер, в частности, комплексной программы по развитию Нечерноземья?

Да не для того ли все это говорится, чтобы понизить значение гражданственных поступков писателя, чтобы противопоставить, вопреки лучшим традициям отечественной литературы, постановку «важных социальных, государственных идей» собственно творчеству или, еще точнее, творчеству без «важных государственных идей».

П. А. Николаев, как бы чувствуя шаткость, зыбкость своего тезиса, замечает:

«Трудно ждать большого творческого успеха при иллюстрировании идей, даже если они выношены автором, но еще недостаточно апробированы общественным опытом».

Трудно другое — не увидеть и не понять в этом мнении ученого побуждения, понуждения писателя к творческой пассивности, к отказу от поиска и смелости в отстаивании новых идей — общественных идей! — в угоду формально-эстетическому поиску. Но не пророчеством ли, не озабоченностью ли о судьбах отечества всегда была сильна русская литература, никогда — от летописей до прозы и поэзии наших дней — не полагавшаяся лишь на санкционированное прогнозирование будущего — от кого бы оно, санкцио-

нирование, не исходило, кроме как из сердца народного. Да и не оттого ли, не за то ли и достается больше всего В. Белову от критиков его «городского» романа, что в нем писатель как раз и обращается, и призывает своих героев думать о будущем, критиковать предложенные релятивистским сознанием схемы будущего, искать и разрабатывать свои, наиболее отвечающие народному самосознанию и народным идеалам?!

Отрицая в литературе любую, не устраивающую того или другого критика концепцию будущего или его модель, во всяком случае — подвергая ее сомнению, можно ведь, не утруждая себя доказательствами, сказать, что рассматриваемые идеи, «даже если они выношены автором», априори спорны или неубедительны, ибо «еще недостаточно апробированы общественным опытом». Сомнительно, является ли такой подход подлинно научным, способствует ли он объективному отражению творческого поиска в литературе.

Невольно думается об этом еще и потому, что в одних выводах П. А. Николаев жестко категоричен, в других — мягок, многозначен, уступчиво-расплывчат, приблизителен. Впрочем, софистика знает немало способов и приемов того, как бросить тень на плетень и завуалировать очевидное. Сегодня вряд ли кто станет убежденно и искренне утверждать, что художественный уровень нынешней «городской» прозы выше, чем «деревенской». Непредубежденному человеку, однако, ясно, что причина этого не в «теме» как таковой, а в силе таланта, дарования автора. Как пример — гениальность «городской» прозы Гоголя или Достоевского. Но утверждая ту же мысль с оговорками, используя условно-сослагательные обороты и легкие, при беглом чтении почти незаметные смещения понятий, можно достичь обратного эффекта:

«Возможно, «городская» проза не имела в последние годы столь внушительных успехов, как «деревенская», — говорит П. А. Николаев, и говорит так, будто

мимо его внимания ненароком мог пройти гениальный «городской» шедевр, а он этого и не знает, и, стало быть, не так уж однозначен и не так уж и однозначны должны быть, в этом смысле, и мы, читатели; а далее, если это допущение принято нами, то уже и с В. Беловым возможно говорить и судить его по нормам не «столь внушительных успехов» прозы «чужой территории». Но,— продолжает ученый,— «случай с новым романом В. Белова, пожалуй, может как раз помочь найти этому объяснение: оно в исключительной трудности «городского» материала. Что может быть сложнее человеческого объединения, называемого городом, да еще столичным?»

А что, неужели человеческое объединение, называемое семьей или деревней, по основным параметрам человековедения может быть для серьезного писателя материалом более легким? Не для того ли здесь допускается сомнение в очевидном, чтобы за счет принижения одних дарований возвысить другие? В таких случаях обычно спрашивают: корректно ли это?!

П. А. Николаев продолжает:

«Ю. Трифонов, Ю. Нагибин, И. Грекова... Их глубокое художественное осмысление города подготавливалось десятилетиями духовного приобщения к социально-географическому феномену». А В. Белов, дескать, попытался «взять» город с наскока. Отсюда и получается, что человеку, не приобщенному к городскому феномену, всего в этом мире не увидеть и не понять. Неприятная, неоправданная кичливость проглядывает за выводом: дескать, только городской писатель может познать весь мир, а деревенскому это заказано...

Удивительно, с какой легкостью подхватили этот сомнительный тезис другие критики. О. Кучкина, например, уже только саму попытку В. Белова написать в романе «городских людей, московских жителей» объявила «странной». И уж коль скоро В. Белов осмелился на это, то именно поэтому, утверждает она, «да-

же богатейшее чувство языка драматически изменило писателю».

Демонстрируя как бы особую утонченность чувств городской жительницы, несомненно, приобщенной к многомиллионному феномену, О. Кучкина замечает: «...испытываешь чувство неловкости, когда узнаешь, например, что Москва представляется Медведеву «одним сгустком человеческой плоти, непрестанно и неустанно поглощающим пищу, содрогающимся в конвульсиях, испражняющимся и кровоточащим сгустком!»

Конечно, женские чувства надо уважать и, по возможности, щадить. Хорошо бы и Москву пощадить от таких образов и таких запахов, о которых жительница города узнала, оказывается, лишь из романа В. Белова, а ранее не имела о них представления. Ведь не Париж, а пахнет... Хотя трудно предположить, что канализационная система французской столицы отдает лишь запахами духов «Шанель».

Но в том отрывочке, который процитировала для вящей убедительности О. Кучкина, ею опущены, после восклицания, два слова, а точнее — одно, но дважды повторенное Медведевым: «Кошмар, кошмар...» — ключ к ироническому прочтению текста, к пониманию саркастического взгляда героя.

Разумеется, рекомендуя читателю роман отрицательно, можно выделить и подчеркнуть негативные черты и образы, но ведь преимущественно не такую, наводящей лишь на неловкость мыслей и чувств, видится Москва Медведеву.

«О, нет! — читаем мы в романе. — Она (Москва! — В. Г.) была дорога ему (Медведеву! — В. Г.) как мать (разрядка моя. — В. Г.), и хотя ревность иногда просто жгла сердце, и стыд мог в любую минуту в самом неподходящем месте опалить лицо, он все равно бесконечно любил этот город. Все ушибы и вывихи, полученные по ее милости, заживляла она же, его родная Москва, все его радости были связаны с ней —

щедрой и бездумно-великодушной! И что же винить ее, станешь ли сетовать на ее неразборчивость, скажешь ли в ее осуждение хотя бы единое слово? Мать есть мать, какова бы она ни была... Но Медведев ловил себя не только на одной снисходительности: временами он чуял в себе освежающее и вдохновляющее на жизнь чувство гордости. Почему-то он слегка стеснялся этого чувства».

Вот ведь где кредо Медведева по отношению к Москве, его сердечное: чувство гордости и — скажешь ли в ее осуждение хотя бы единое слово?!

Вероятно, некоторые пассажи О. Кучкиной, — не говоря о желательной доброжелательности и добросовестности прочтения романа, — можно отнести к неловким за счет странностей прихотливой логики «женской» критики, за счет казотливости, как говаривали в старину, или кокетства. Но право, даже с учетом этого остается недоумение, почему основным критерием идейно-художественного анализа романа О. Кучкина избирает физиологические параметры.

«Ученые говорят, да и практика подтверждает, — со знанием дела сообщает она, — что где-то между 50 и 60 годами в человеке (в мужчине тоже) происходят физиологические изменения, воздействующие и на психику, когда могут смещаться представления о себе и о мире. Похоже, выбранные писателем герои в этой поре».

Можно ли что сказать на это? Каждый волен иметь о романе и его героях свое мнение. И совсем не обязательно, чтобы любой роман нравился любому читателю. Но зачем демонстрировать при этом раздраженность, никак, ни в какой степени не соотносимую с этикой требовательного и бережного отношения критики к таланту? Бестактность не красит человека, но неужели это качество может импонировать «женской» критике? Правда, ко всей женской критике это замечание отнести нельзя. Скажем, ироническая снисходительность

Н. Ивановой к В. Белову и его роману в годовом обзоре текущей прозы в журнале «Знамя» выглядит предпочтительней. Там хоть ясно, что писатель и критик не нашли общего языка в понимании проблемы женской эмансипации, которая у В. Белова, вопреки мнению Н. Ивановой, заключена отнюдь не в моральной распушенности и вседозволенности, а как раз в морально-нравственной чистоплотности и духовной красоте женщины.

Между тем кажется, что если бы О. Кучкина предпочла эпатажным пассажирам серьезный сущностно-проблемный разговор о романе «Все впереди», она, наверное, начала бы с того свой анализ, чем кончила его в статье «Странная литература»:

«Если называть вещи своими именами, беловские герои демонстрируют философию растерянного и оттого раздраженного, перепуганного и оттого апокалиптически настроенного мещанина».

Здесь, по крайней мере, интересно, что хотя вывод этот неприемлем, несправедлив, неверен в целом, то отдельные оценки романа, несмотря на категоричность, все же характеризуют героев В. Белова там и тогда, когда они выступают носителями философии мещанства и потребительства. Сказав: «оттого, оттого, оттого...», О. Кучкина не сделала основного, крайне необходимого в таком разговоре, — попытки разобраться, отчего же и что на разных этапах своей жизни «демонстрируют» герои В. Белова, какую трансформацию претерпевает исповедуемая ими философия, в какую жанровую форму переплавляется семейно-бытовой и мелодраматический по исходным позициям роман к финалу повествования. Если называть вещи своими именами, то это и должно было бы стать предметом критического разговора о романе, повергшем в смутнение и растерянность столькие умы, и какие умы!..

Оставляя в стороне причины второстепенные, не основные, связанные со вкусовой оценкой романа или

оценкой его с точки зрения групповых интересов окололитературной среды, мы должны признать, что суть разногласий в прочтении романа «Все впереди» проистекает из мировоззренческих позиций читателей и оппонентов В. Белова, вступающих в согласие с мировоззрением автора романа или противоречащих ему и уже потом учитывающих или не учитывающих эстетическую и художественную природу романа.

Случайно ли, что сюжет романа В. Белова строится столь тонко и до пародийности на детективно-приключенческий жанр, столь изящно, что свет в коридоре парижской гостиницы «Ситэ-Бержер» гаснет именно в тот момент, когда вечно «жаждущий справедливости» нарколог Иванов мог самолично убедиться, что Люба, образец чистоты и непорочности, среди полуночи ввела кавалера в свой номер или, наоборот, сама вошла в его номер?

Случайно ли, что он же, нарколог Иванов, становится свидетелем провокационного пари на бутылку фирменного виски «Белая лошадь» между Бришем и его другом Аркадием: сумеет ли последний наставить рога Медведеву?! — но так-таки никогда не получит убедительных доказательств того, чем и как это пари закончилось?

Случайно ли, наконец, что сам В. Белов не удостоит сообщить читателю, что же было на самом деле там, в Париже, и здесь, в Москве, «постельного» или «любовного», из-за чего Люба Медведева стала Любовью Викторовной Бриш?

Семейно-бытовой роман без сцепления и последующего раскрытия таких звеньев просто невозможен... А игнорируя канонические правила сознательно, не говорит ли автор тем самым о необходимости отыскания иного ключа для прочтения романа? Забавно, что и возможное возражение этому отпадает само собой, — ведь В. Белову, художнику-реалисту, нельзя слащаво польстить, предположив, что чувство такта не позво-

Ляёт ему с излишней дотошностью копаться в постельном белье героев и касаться наиболее интимных сторон их жизни. Этот такт определяет не он, а персонажи его романа, неприукрашенная жизненная реальность, наконец. В подтверждение этого пристрастный читатель тут же сошлется на примеры из романа, — хотя бы на далекий от понятий скромности и стыдливости образ распутной жизни Натальи Зуевой, на знаменитые теперь «вологодские кисточки» для отыскания эrogenных зон и многое из подобного этому.

В. Белову, думается, труднее было не дописать интимно-сладострастные сцены до известного конца, а остановить свое перо там и тогда, когда роман сбивался на банальный адюльтер, ибо не сама по себе супружеская неверность интересует его, как и Медведева, — здесь автор и его герой солидарны! — но процесс нравственного распада и разложения личности, процесс все убыстряющегося выветривания и разрушения неколебимого для целой череды поколений лада народной жизни, выработанных веками моральных устоев и обязательств людей друг перед другом, правил и законов общественного и личного бытия.

Показывая стремительное крушение семейного, несколько даже идеализированного, счастья Медведевых, исследуя, параллельно с этим, обстоятельства и причины семейной неустроенности и неустойчивости Зуевых и Ивановых, В. Белов вплотную подходит в своем романе к выявлению диалектического противоборства созидательных и разрушительных тенденций, влияющих на семью и искривление норм морали в современном обществе. Каждая из таких причин, отдельно взятая, может кому-то показаться мелкой, незначительной, несущественной. Когда же речь заходит о векторе влияния, слагаемом из этих причин, каждому хочется думать, что уж его-то лично дурное поветрие не коснется... Через своих героев, обрушивая на них все новые и новые испытания, писатель ведет проверку духовной

и социально-нравственной стабильности общественной системы — и эта проверка на прочность или на разрыв является той внутренней доминантой, которая держит на себе всю сложную композицию романа.

Отклонение от общепринятых правил и законов бытия личного таит в себе угрозу ниспровержения законов общественных. Поэтому-то прочность общественного уклада, наряду с другими важными факторами, обеспечивается прочностью семьи. И не обеспечивается, когда моральные устои зыбки, а семьи сплошь и рядом распадаются. Но при этом, если Медведев как индивидуум может быть поражен открытием некоей «тайны женского поведения» в своей жене, то для общества в этом смысле никаких загадок не существует. Иное дело, с какой степенью терпимости, с осуждением или снисхождением относится оно, общество, к явным для него «женским тайнам» и менее явным «мужским».

Догматический контроль нравов обычно с ходу, резко и категорично отвергает любые поползновения литературы на суд над обществом. Особенное ужесточение такого контроля свидетельствует о кризисе демократии, переживаемом обществом. Один из таких периодов памятен нам по пятидесятым-шестидесятым годам, другой пришелся на семидесятые — первую половину восьмидесятых. Их можно назвать, соответственно, кризисом доверия и кризисом честности — время, когда общество остро испытывало недостаток доверия и недостаток честности, прежде всего с точки зрения гласности. На литературе эти кризисные периоды сказались довольно печальным образом.

Для любознательных читателей. Прежде всего это выразилось в том, что произошел разрыв между идейно-эстетической оценкой творчества писателей и самим творчеством, самой литературой. Создавалось положение, когда писатель пописывал, чита-

тель почитывал, критика... помалкивала. Нельзя сказать, что она помалкивала вообще, нет, но она откликнулась в первую очередь на произведения, отвечающие конъюнктурным соображениям момента. Она уведила внимание читателей от магистрального русла советской литературы, от произведений социально острых, проникнутых критическим пафосом по отношению к действительности, от произведений, художественно емко отображающих жизнь народа и самый дух его, почти полностью игнорировала историко-патриотическую романистику, посвященную не только далекому прошлому народа, но и его истории уже в советскую эпоху. Критика, таким образом, изживала сама себя. Да и не вся вина ложится на ее плечи. Критик у нас работает в основном «на заказ», а заказывает печатный орган, он же и определяет, и направляет литературную политику.

В частности, Ал. Михайлов, уже в условиях гласности, в статье «Позиция и амбиция» рассказал, как это иногда делалось,— то есть, как заказывалось и формировалось строго дозированное направленное мнение о литературе, о литературном процессе.

«Более серьезно и конструктивно дала возможность поговорить о критике (разрядка моя.— В. Г.)— уже после съезда (имеется в виду VIII съезд писателей СССР.— В. Г.)— «Литературная газета». Но не буду, не хочу сводить сейчас какой-либо баланс. Сказана правда о критике, которая давала завышенные оценки и создавала ложные авторитеты в литературе, помогала созданию атмосферы захваливания и довольства, образованию довольно многочисленного корпуса «некритикабельных» писателей в иерархии творческого союза. Ответственность за это целиком и полностью разделяют с критиками сами «некритикабельные».

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний день о критике сказана еще не вся правда. Сам по

себе речевой оборот, использованный Ал. Михайловым, емок и афористичен: «Сказана правда о критике...» — и автор, по счастью, не идеализирует положение дел, ибо продолжает: «...правда о критике, которая...» — и далее по тексту. Надо полагать, что критика в конце концов назовет имена и произведения «некритикабельных» и скажет о них необходимую правду.

«У меня, — продолжает Ал. Михайлов, — как, думаю, и у моих коллег, накопилось немало примеров, когда критическое слово о ком-либо из «некритикабельных» не проходило через редакционный отбор. Прорвать «круговую оборону» было необычайно трудно. И разве от этого у многих не накопилось досады, раздражения, обиды на редакторов? Но вместе с этим укоренялось и равнодушие, приспособленчество, угодничество, готовность работать по принципу: «Чего изволите?»

«Но литература-то существует!» — может воскликнуть читатель. Да, существует, и такая, что мы вправе гордиться ею перед всем миром. Однако она существует в немалой степени благодаря неослабному и заинтересованному вниманию читателей к писательскому труду. Нет в нашей стране ни одного настоящего писателя, который бы не знал, который бы не был уверен, что его книги будут прочитаны читателем. Увы, этим, к сожалению, мало занимались люди, кому читать полагалось по должности... Но литература существует и благодаря, как ни странно, во многом консервативной системе нашего книгоиздательского дела. От завершения рукописи до выхода ее в свет проходят нередко годы. Система же редакторской перестраховки такова, что прежде, чем рукопись уйдет в набор, она обрастет несколькими рецензиями, и счастье, если это будут рецензии и отзывы писателей заинтересованных, неравнодушных.

Но вот талантливая, нужная народу книга вышла. В лучшем случае она будет отмечена одной-двумя ре-

цензиями в еженедельниках — органах СП СССР и СП РСФСР, в худшем — обругана или вовсе не будет замечена. Любой из этих вариантов отдаляет книгу от народа. Разговор — подробный, страстный, заинтересованный — о писательском труде, о результатах этого труда нужен и авторам, и читателям, и самой литературе. Рецензия ныне практически перестала быть критическим жанром, она информативна, изредка — оценочна и не более того. Если у нас мало, недостаточно оперативных литературных органов — их надо создавать, но надо поправлять положение, при котором как бы не вовлеченными в современный литературный процесс, выпавшими из поля зрения критики оперативной оказываются интересные работы таких, например, писателей, как Вас. Федоров, А. Иванов, В. Чивилихин, В. Быков, В. Закруткин, В. Кочетов, И. Калашников, А. Стрыгин, И. Чигринов, С. Викулов, О. Фокина, В. Фирсов, В. Иванов, Д. Зорин, И. Акулов, П. Загребельный, И. Падерин, И. Шамякин, Е. Носов, В. Пикуль, Г. Коновалов, В. Шукшин, тот же В. Белов, наконец... А сколько книг и имен писателей, особенно периферийных, особенно молодых, о которых центральная литературная печать не упоминает?! Допустимо ли такое расточительство, если только это расточительство, а не заданность, не предвзятость или неумение, неспособность правильно организовать литературное дело.

Когда наболевшее слово писателя выплескивается на книжные или газетно-журнальные страницы, оно почти неизбежно несет на себе следы эмоциональных внутренних перегрузок. Хорошо это или плохо?! Кажется, сам вопрос странен: разве может быть литература, не зависимо от жанра, не эмоциональной! А ведь бывало, и не раз, что во времена, предшествовавшие нынешней гласности, писателю указывали на эмоции как на недостаток... Вот и приходилось сверять: не сгущены ли, не слишком ли разбавлены,

рассиролены краски... Ведь читатель сразу чувствует это! Поэтому-то, объективности ради, есть смысл еще раз обратиться к аналитически-вдумчивым и трижды взвешенным оценкам Ал. Михайлова, поддержанным мнением писательской общественности на совете по критике при СП СССР. И хотя касаются эти оценки непосредственно «внутренней кухни» литературной «политики» известной «Литературной газеты», они в то же время отражают весьма характерные черты общелитературного процесса последних лет.

«Имеет свои заслуги и литературная «тетрадь», — констатирует Ал. Михайлов, — ...и, как мне думается, в основном за счет литературоведения. Но в собственной критике, в анализе текущего литературного процесса, выявлении его характерных тенденций газета проявляет инерционный подход, демонстрирует теоретическую и методологическую слабость.

В чем она проявляется? В подмене объективных критериев подхода к литературе тактическим лавированием. Так, например, выстраиваются «сюжеты» большинства редакционных статей за подписью «Литератор». По тактической дозировке расставляются для критики журналы и писатели, которые в глазах газеты представляют какие-то противоположные тенденции (а может быть, группировки?) в литературе. Вместо идейно-эстетических критериев здесь слишком часто действует расчет».

И далее:

«В редакции, конечно, понимают, что без критики, без показа отрицательных явлений в литературе газете существовать нельзя. И тут тоже выработался стереотип. Для «персональной» критической оценки обычно выбирают писателя из, условно говоря, второго или третьего ряда, желательно из провинции или молодого, неоперившегося. И тут можно не считаться с объектом критики».

Ну разумеется, если газета позволяет себе, до поры,

не считаться с объектом критики из-за неких «тактических» соображений, то сами объекты критики, сиречь писатели, не могут мириться с длительным и, как в кривом зеркале, искаженным представлением о литературной действительности. Не одни писатели, но и читатели сегодня многое понимают правильно и с усмешкой поглядывают на пожелтевшие зеркала литературной прессы. Нередко в их письмах в редакции встречаются отнюдь не сакраментальные фразы — вроде следующей: «Уж если «обозреватель» в каком-нибудь органе разносит чью-то книгу в пух и прах, то это, наверняка, хорошая книга!..» По такой шкале оценок некоторые органы держали несомненное лидерство.

Впрочем, не хотелось бы придавать этим словам значение эталона истины, высказанной читателем пусть даже и с оттенком иронии. Но если искусство принадлежит народу, то от народного взгляда на жизнь и литературу никак не должна отворачиваться, не должна не учитывать его профессиональная критика, разумеется, когда она честно исполняет свой долг, а не простигурует, не приторговывает честью, как наиболее ходовым и наиболее дефицитным товаром литературного рынка. Как пример, как одно из очевидных несоответствий такого рода — широчайший интерес читательских масс к историческим романам В. Пикуля и полная беспомощность в объяснении этого интереса, а то и неприятие прозы В. Пикуля эстетской критикой. Да разве не то же самое видим мы и в отношении сей чопорной дамы к новому роману В. Белова, как бы обреченному ею на одностороннее прочтение?

Редкий случай эстетической глухоты и непонимания романа В. Белова, отвержения его от литературы с хода, с порога, явил Д. Иванов в той части своей статьи в «Огоньке», что непосредственно посвящена анализу «Все впереди». Критик полагает, что для того, чтобы

перечеркнуть роман, достаточно нескольких отрицательных выступлений в периодике, что прозвучали ранее...

«Василий Белов,— уверяет Д. Иванов,— как это уже знают теперь все, кто следит за литературно-критической периодикой, своим романом «Все впереди» («Наш современник», 1986, № 7, 8) сделал назад не шаг и даже не два, а еще больше. Он — певец и творец лада — не сладил с темой, не сладил свою книгу» (разрядка автора. — В. Г.).

Хочется думать, что перед нами случайный рецидив нормированного подхода к литературе, того самого, который на словах осуждается Д. Ивановым, а на деле — реанимируется. Критику можно посочувствовать: привычка — великая вещь, тем более что речь идет не только и не столько о личных пристрастиях, сколько о вкусах и мнениях некоторой части интеллигенции, той именно части, которая в горделивом самомнении иссушила сердечные связи с народом. Хочется думать также, что Д. Иванов искренен в порыве соответствовать самому духу нынешней перестройки и, соответственно, в желании говорить только правду. Надо только, чтобы результат соответствовал замыслу. Мы же должны понимать, что сознание классов, малых или больших групп людей, связанных общими интересами, не может измениться одновременно, однолинейно, как по мановению волшебной палочки. Перестройка общественного сознания, как и личного, осуществляется, во-первых, во времени, а во-вторых — в системе конкретных реалий, под их диктатом, идет ли речь об искусстве, морали, нравственности или об идеологической, политической, экономической, хозяйственной и иных сферах деятельности.

Сегодня не будет открытием сказать, что на фоне широкополосных рекламных дискуссий, посвященных художественно худосочным произведениям, в которых, порой, утверждалась сомнительная мораль обывательского толка,— вспомним в этой связи из романа В. Бе-

лова полную иронию и сарказма реплику Дмитрия Медведева в разговоре с Женей Грузем: «Читай лучше газету. Ты ведь любишь «Литературку»? Причащает и исповедует. Организует службу знакомств, пропагандирует культурное питание. Уникальнейший орган, не правда ли?» — на этом фоне литература о думах и тревогах народа смотрелась размыто, исчезающе, бледно, как белая лошадь в тумане...

Утверждение нового общественного порядка имеет предпосылкой разрушение старых норм, старого уклада и застойных явлений жизни. Но делать это надо с оглядкой. Ведь общество осуществляет свои цели хотя и коллективными усилиями, но всегда и непременно через человеческие деяния и судьбы. И коль скоро мы живем в мире противоречий, то естественно, что сами общественные побуждения могут быть направлены к осуществлению как исторически прогрессивных перемен, так и регрессивных, чем нередко и отличаются кризисные периоды, — отсюда драматизм и трагизм ситуаций, столкновений характеров и убеждений. И пожалуй, никакая иная литература, кроме как литература, представляющая народный взгляд на жизнь, не может убедить нас в правильности выбранного пути или предостеречь от ошибок.

Рассматривая роман В. Белова «Все впереди» под этим углом, мы, кажется, все дальше уходим от трактовки его как романа семейно-бытового, и это неизбежно, если следовать действительной логике характеров и отношений героев, суровой жизненной правде, изображенной в романе, а не прикладывать к нему перекошенные нормативы вчерашнего дня.

Со сменой эпох и формаций, революционно (не только по способу, но и по сути!) изменяющих положение масс, общественные отношения неизбежно меняются к лучшему. Но еще никому не удавалось построить храм на песке. Разрыв живительных связей современности с историко-революционным и нравст-

венно-созидательным опытом прошлого чреват в судьбе поколений обрывом таких же связей современности с будущим. Что равносильно гибели народа, а случись это в масштабах человечества — то и гибели всей цивилизации. Мысль эта лейтмотивом проходит через роман В. Белова, обязывая к взыскательной оценке всего того, что на волне перестройки жизни, от гребня до основания, происходит сегодня.

Нелишне заметить, что литература начала подготовку к перестройке сознания значительно раньше, чем сама перестройка стала программой действий общества. Может быть, тогда, когда В. Шукшин провозгласил: нравственность есть правда! Когда стало ясным, что слово, не подкрепленное делом, есть ложь. Когда литература целым рядом ярких, талантливых произведений, таких, как романы «Выбор», «Берег» и особенно «Игра» Ю. Бондарева, как роман «Вечный зов» и «Повесть о несбывшейся любви» А. Иванова, повесть В. Быкова «Знак беды», роман-эссе «Память» В. Чивилихина, повесть «Пожар» В. Распутина, роман «Все впереди» В. Белова представила, наконец, народ, державно осмысливающим самого себя на пути к новой эпохе.

Хотя в центре повествования В. Белова действительно глубокая семейная драма, проанализированная с профессиональной добросовестностью психолога и художника, все здесь — и сюжетно-композиционная структура романа, и тематический объем вовлеченного в осмысление материала, и вся диалектика и динамическая напряженность споров, которые ведут персонажи, расплачиваясь за правоту своих убеждений если не жизнью, то положением в обществе, работой, семейным счастьем или падением нравственности, нищетой духа, — все недвусмысленно указывает, что перед нами роман философский, роман-вопрос и одновременно роман-предупреждение.

Для понимания философского, а если угодно, то

и политического смысла романа принципиальное значение имеет давний, еще в заключении, спор Медведева с неким лоценым интеллектуалом, он же — валютно-финансовый аферист, утверждавшим:

«Равенство? Его никогда не будет. Природа наделила людей разными полномочиями... Одни всегда будут убирать свое и чужое дерьмо, причем вручную. Другие — моделировать их поведение».

Не новая для нас «философия», и, как видим, живучая. Она не просто повторяется, но активно, а в последние годы, можно сказать, и наступательно приспособляется к условиям социализма. И коль скоро находятся преуспевающие в этой «сфере обслуживания» «сеятели» человеконенавистнических идей, должны и всегда будут являться в наш мир люди, сражающиеся со злом словом и делом правды.

Это не так просто, как кажется. В руках тех, кто ратует за привилегированные полномочия, все средства хороши. Во всяком случае, в выборе их они не брезгуют ничем. Доносы, клевета, подкупы, шантаж и моральная дезорганизация, внедрение в умы и души бездуховных стереотипов маскультуры, хула и слава, анонимный террор в изощренных формах, разрушение семьи, искушение сексом, алкоголем, наркотиками... и несть числа этим средствам!.. Все это в той или иной мере пришлось испытать в романе и Медведеву, и Зуеву, и Иванову.

Долгие годы воспоминание о том споре мучило Медведева некой то ли действительной, то ли кажущейся неразрешимостью проблемы: он всей душой не желал, противился даже мысли о разделении человеческого рода на избранных и неизбранных, чтобы одни представляли собой овечье стадо, а другие были над ним пастухами, он жаждал равенства подлинного, а не мнимого, справедливого даже в самых малых мелочах, но при этом понимал, что кто-то же делал за других, порой и за него тоже, грязную, отвратительную

работу — очищал писсуары, выгребал мусорные ящики, стирал чужое белье... И если не делал этого он, Медведев, то чем он лучше валютно-интеллектуального мерзавца, моделировавшего поведение других с выгодой для себя и себе подобных?

«Экие интеллигентские терзания! — восклицает по этому поводу один полумастистый, если так можно сказать, критик, к оценкам которого мы еще обратимся. — И ведь невдомек Медведеву, что мужик подобную работу делает естественно, как всякую необходимую».

Вот, дескать, и пусть делает, пусть обслуживает! Нечего интеллигенту голову над этим ломать!..

Человек интеллигентный обычно теряется перед цинизмом и непристойностью, а здесь — прибегают к цинизму да еще стучат себя при этом кулаком в грудь: вот, мол, какие мы!.. Что же до мужика, то надо сказать, что он знает цену действительно любой работе, но знает и то, чью работу, кроме своей, и за кого он делает. Автор тирады что-то не похвально своим умением золотарничать, но зато о романе берет'ся судить в том числе и от имени мужика, подтирающего за ним.

Преодолевая брезгливость, Медведев вычистит зловонную яму уборной, почувствовав после этого, что «с души как бы отваливалась, спадала незамечаемая до этого тяжесть». И что же? Издевательский голос того, лощеного интеллектуала скажет ему: «Ты сделал это только для собственного самоутверждения. А делать это всегда ты ведь не станешь...»

В этом-то весь секрет.

Почему же всегда? Когда надо!

Нет, не только для самоутверждения должно было Медведеву пройти через это, но для того, главным образом, чтобы понять, что приверженцы элитарных теорий того только и хотят, чтобы одни всегда копались в дерьме, в навозе, а другие — всегда извлекали из этого выгоду.

«Да, я уберу за собой,— говорит Медведев,— но успею сделать еще кое-что... Все впереди!»

С этой надеждой, уверенностью нам открывается новый Медведев, для которого извечная философская дилемма о противоборстве добра и зла обретает конкретную реальность и высокий жизненный смысл.

Следует, однако, заметить, что, хотя весомость аргументов в философском споре может зависеть от их логической последовательности, теоретической значимости и убедительности, в структуре художественного произведения решающее значение имеют поступки, переживания героя, сама жизненная реальность, воплощенная в образы и картины, и чем пронзительнее в писательском слове это воплощение, тем насыщеннее оказывается художественная ткань романа, тем правдивее и достовернее предстает и борьба, идей, насыщающих роман, и сама изображенная в нем жизнь.

Безусловно, фигура Дмитрия Медведева, с учетом противоречий этого широкого душой и сильного внутренней стойкостью и убежденностью характера, с учетом даже некоторой его инфантильности в начале романа, преодолеваемой им вместе с ниспосланными судьбой поражениями, ярко и сильно выписана В. Беловым. Но одно обстоятельство, непосредственно вытекающее из содержания и структуры романа, заставляет нас либо предположить, что между первой и второй частями книги есть главы, может быть, окончательно не завершенные или по тем или иным причинам не опубликованные писателем, либо высказать ему серьезный упрек в том, что целое десятилетие жизни его героя (и других персонажей тоже!) оказалось за пределами повествования. Десятилетие для них отнюдь не безмятежное. Для Медведева эти шесть лет в заключении и четыре года после выхода на свободу и жизни где-то рядом с Москвой, где-то около... должны, по логике вещей, представить сложный и мучительный путь надломленного судьбой, но не сломлен-

ного окончательно человека. Не павшего! Пока же ориентиром на всем этом отрезке остается ретроспективный эпизод с ложенным интеллектуалом. Потрясения же этих лет, общение с миром отвергнутых законом и обществом, адаптация в новых условиях, несомненно, много значили в «воскрешении» Дмитрия Медведева.

По давней, еще классиками утвержденной, традиции жанр философского романа ставит вопросы, касающиеся конкретных проявлений противоборства добра и зла, и вопросы эти нередко выносятся в название авторами. А. Герцен спрашивал: «Кто виноват?»; Н. Чернышевский — «Что делать?»; и вот совсем недавно, кажется, В. Кочетов: «Чего же ты хочешь?». По прямоте и открытости постановки вопроса роман В. Белова «Все впереди» может быть поставлен в этот же ряд, с той лишь разницей, что вопрос угадывается и задается самими читателями: «Что впереди?..»

Ответ, разумеется, может быть сформулирован и с однолинейною прямою, — он будет отвечать программной задаче современности; но это еще не значит, и это было бы упрощенчеством, думать, что собственно ради такого ответа и написан роман. Каждый читатель должен найти в романе и сформулировать этот ответ для себя сам. Поэтому-то так важно понять, против чего протестуют герои романа, а вместе с ними нередко и сам автор, хотя, конечно, абсолютное отождествление позиций недопустимо.

На судьбе Любы Медведевой блестяще раскрыто одно из основных зол времени нашего и романа — мещанство, самопожиряющее себя, растлевающее и здоровую социальную среду вокруг себя, и носителей идеологии приспособленчества и потребительства.

Разве не удушливая атмосфера бездуховного бытия окружала ее постоянно?

«Она мечтала всегда...» — сказано о ней в романе, и далее автор уточняет: «Люба всегда жила завтрашним, вернее, послезавтрашним днем, думала только

о будущем, не замечая настоящее и совсем не вспоминая о прошлом». Словно по эстафете мечтательность эта, праздная, пустая, ложно романтизированная, передана ей из прошлого от чеховских героинь ее материю, актрисой, — та после войны неплохо играла этих самых героинь на сцене профсоюзных клубов и настолько срослась с ними, что на все вокруг себя распространяла их духовную эманацию, перерастающую, по наблюдению Медведева, в экспансию.

Мечты эти не требовали от Любы ни нравственных усилий, ни духовного напряжения. Они в общем-то легко исполнялись, хотя и менялись вместе с быстро текущей модой: эстампы, торшеры, пластиковая химия, потом самовары и домотканые дорожки, затем дорожки, не совсем удобные, но непременно одношерстные мебельные гарнитуры и стеллажи, забиваемые нечитанными и нечитаемыми книгами. От прошлого оставался лишь старый рояль, чистый голос которого надламывался отнюдь не на классических мелодиях, хотя знавала Люба и Шопена, и Чайковского — все-таки учительница музыки: сама училась — сама переучивалась, а музыкальное образование у нас, как известно, наиболее консервативное... На всем этом, и даже на том, что муж у Любы «такой талантливый, такой не похожий на всех остальных!» — лежал определенный и, кажется, уже не всегда осуждаемый широким общественным мнением отпечаток ненасытного потребительства.

Притерпелись.

На фоне пластикового бытия, голой рационализации жизни, неестественным, точнее — противоестественным образом коснувшейся даже жизни детей, что особенно остро, даже болезненно, чувствует и переживает Медведев, на этом фоне человек без прошлого, без духовных связей с народом — это человек без корней, человек без настоящего и будущего.

Нет нравственных тормозов — нет самой нравствен-

ности, внутренне одерживающей и облагораживающей человека силы, сообщающей его помыслам и поступкам совестливое и созидательное начало.

Оттого-то так легко пала Люба, оттого и Париж заразил ее злобой и агрессивностью, прорывавшейся во внезапных вспышках, унижительных для Медведева. Последнее, впрочем, закономерно: страдает больше не тот, кто вершит зло, а тот, кто понимает, что есть зло.

Кажется, А. Герцену принадлежит мысль о том, что тинистый слой мещан не определяет судьбу нации. Не из этого ли исходил А. Чехов, всю жизнь разоблачая мещанство, срывая с него одежды пристойности, но, главным и преимущественным образом, высмеивая. Однако же, вот, выходит, и до сих пор не разоблачил, не сорвал, не высмеял... Конечно, неверно было бы обвинять Чехова в грехах нынешнего мещанства — теперь оно совсем другое. Но не от Чехова ли, а еще более от его толкователей и эпигонов пошло некое снисходительное, полуусмешливое, полуироническое, отчасти даже и легковесное отношение к пороку, достойному каленого железа. Есть в такой иронии обратная сторона, на которую мы, перешагнувшие лестницу словений, как-то не обращаем внимания, не придаем ей значения. Может быть, это следует назвать обратным эффектом, психологическим парадоксом, но — высмеянные в таком тоне пороки, легонько высеченные публично, публично же и осмеянные, именно через общий смех, через иронию общественного понимания как бы получали права гражданства. Оказывалось, над пороком можно смеяться, но его можно и иметь, — недостаток становился словно бы извинительным, от него не требовалось избавляться.

Это а-ля-чеховское влияние надолго останется в литературе; оно и до сих пор дает себя знать томами и томами антимещанской прозы, с какой-то благополучной незаметностью перешедшей в разряд так называемой бытовой прозы. Мельчаем: бытие народа

и бытовщина — это не просто разные предметы повествования в литературе, это разные уровни мышления и осмысления жизни. Дело доходит действительно до смешного, когда современный, с чеховским привкусом, мещанин описывается чуть ли не со слезами умиления.

Если же говорить серьезно, то литература утерьяла, за редким исключением, утратила критический подход, критическое отношение к мещанству. Штампуя стереотипы, она произвольно закрепляет жизненные права и принципы мещанства и яростно защищает любые поползновения объективной литературно-критической мысли на сей «социально-географический феномен». Именно поэтому, именно отсюда следует резкое неприятие того, что «деревенский» В. Белов посягнул в романе на «чужую» тему, на чужую «территорию».

Есть ли и в чем принципиальная новизна в изображении мещанства В. Беловым в романе «Все впереди»?

В том, прежде всего, что он критически осмыслил и вскрыл деструктивную сущность современного мещанства, представляющую бóльшую, чем мы обычно думаем, опасность как для одной, отдельно взятой личности, так и для общества в целом.

В. Белов увидел и показал, что современным мещанством можно манипулировать.

Открытие, достойное и художника и философа!

Поняли или не поняли эту важную мысль романа оппоненты В. Белова, сказать трудно. Во всяком случае, они ошетинились против того, как писатель изображает мещанство. А вот этому уже есть причина. Дело в том, что В. Белов в романе не рассматривает мещанство как самостоятельное антиобщественное явление — с чем литература уже свыкла, что для нее не ново и традиционно и, видимо, приемлемо, — В. Белов рассматривает мещанство как проявление материального, социального, духовного и идеологического противоборства двух систем, как

неотъемлемую составную часть мирового зла. Зла, о котором жаждущий справедливости Иванов говорил:

«Существует могучая, целеустремленная, злая и тайная сила... И мало кто сознательно выступает против нее...»

На этой фразе почему-то чаще всего спотыкаются оппоненты В. Белова по роману «Все впереди». Их явно задевает эта реплика нарколога Иванова, хотя все неудовольствие оппонентов обрушивается на голову В. Белова. Цитируя эту фразу с сарказмом, с иронией, с издевкой, критики В. Белова словно и не подозревают, что указывают тем самым на то основное, что не принимается ими в романе, от чего они хотели бы отвести внимание читателей: от осознания не то чтобы абсолютно тайных, но и не всем видимых, не всем понятных связей между злом, так сказать, своим, внутренним, домашним и злом мировым, транснациональным и трансконтинентальным.

По-своему, и довольно точно, сформулировал Д. Иванов сущность «главного зла», преследующего героев романа В. Белова: оно — в подстерегающей их «все бóльшей разобщенности», прежде всего «в семьях,— указывает он,— которые распались у Медведева и Зуева, в новой семье Бриша, на работе у Иванова...»

Но при таком прочтении романа нельзя не видеть, что разобщенность суть не причина, а одно из последствий, сопутствующих развалу семьи. В частности, у В. Белова «новая семья Бриша» разобщена не сама по себе, а прежде всего потому, что старая семья Медведева разрушена стараниями Бриша, и Люба, как она ни глупа, и тем более Вера, дочь Медведева, не могут не понимать этого. Логика Д. Иванова не выдерживает критики, поэтому при верных частных наблюдениях он не может выйти на верные обобщения: концы с концами не сходятся. Он не учитывает наиболее существенного: разная мораль и нравственность,

несовместимые друг с другом, заложены В. Беловым в основу характеров Бриша и Медведева. Отсюда, — как пример нарушения Д. Ивановым логики характеров героев романа, — ощущение разобщенности, испытываемое Бришем и являющееся естественным для него (но не для его новой семьи!), оказывается трагедией для Медведева.

Понимая, что утверждение его требует существенных оговорок, чтобы казаться правдоподобным Д. Иванов далее пишет:

«Причины тому, понятно, различны, но за всеми Белову видится общий корень — наступление мнимого прогресса. Белова оно пугает своей явной неотвратимостью, тем более что прогресс этот кажется ему не только мнимым, но и неестественным, внедряемым со стороны».

Из этого утверждения критика, более характеризующего все-таки состояние и точку зрения героев романа В. Белова, а отнюдь не самого писателя, при всем желании нельзя выяснить, каково же отношение самого Д. Иванова, каков его взгляд на «наступление мнимого прогресса». В принципиальных вопросах он явно уходит от самовыражения. Как нельзя кстати использует он для этого ссылки на высказывания других критиков.

«Где писатель здесь излишне пугается сам и пугает других, — комментирует Д. Иванов, хотя уже в этом его тезисе эмоциональная критическая оценка писательского взгляда на прогресс — «излишне пугается сам» — ничем не мотивирована и не объяснена, то есть волюнтаристски произвольна, — где пугается, а где действительно прав — решить трудно, а чаще и невозможно, поскольку намеки в романе многочисленны и многозначительны, но какое и чему придается значение — не разгадать. «Мне, как и Белову, — писал В. Лакшин (Д. Иванов цитирует здесь В. Лакшина, уходя, таким образом, за его спину, за его точку зре-

ния.— В. Г.),— не правятся некоторые из особенностей новейшей цивилизации... Но найдена ли автором на все это какая-то более высокая точка зрения?»

Так все же: найдена, на взгляд Д. Иванова и В. Лакшина, или нет?

И не требует ли анализ точек зрения «по высоте» их сравнения?

Оба критика, видимо, предполагают здесь отрицательный ответ или, напротив, не хотят видеть точку зрения писателя и его героев в упор. Но это же не значит, что ее действительно нет.

В чем она? А хотя бы в дилемме: что лучше — погибнуть в атомной схватке или жить по указке дьявола?..

Однако, даже ставя эту сложнейшую и сверхактуальную общечеловеческую проблему на обсуждение, В. Белов гораздо более озабочен не категоричностью ее, но поиском альтернативных решений, того, может быть, единственного для человечества шанса на спасение, который позволит уберечь мировую цивилизацию и от ядерной агонии, и от агонии духовного разложения.

Критики отчего-то не задумываются над этим, словно так уже все благополучно у нас с «мнимым» и не с мнимым прогрессом, нет, будто бы никаких проблем и ничто нам не угрожает... Но ведь тем самым они как бы публично расписываются в том, что не понимают новый роман В. Белова и в то же время много, охотно и рьяно о нем пишут. В традициях нашей отечественной критики обычно было другое: писать о том, как критик понимает литературу, как соотносит он ее с реальной жизнью. При этом возможны ошибочное понимание произведения, ошибочная трактовка его, но ошибки непреднамеренные редко когда приводят к извращенному толкованию, если только они не являются следствием компрометации одних идей ради утверждения других.

Героями В. Белова мировое зло осмысливается и в житейском, и в философском плане. Оно предстает

на страницах романа и в абстрактных категориях, ассоциируясь по общепринятой в мировом искусстве символике с дьяволом, темной бесовской силой, искушающей человека; и в болевой для народа конкретике свершений, уже не всегда поправимых, с горестными, увы, и печальными для судеб нации и отечества последствиями; и в конкретных носителях зла — весьма колоритен в этом смысле прозванный «идушим впереди» Миша Бриш — образ поистине дьявольской разрушительной силы, выписанный автором в лучших традициях мировой классики.

Глубоко выстрадано и по самому крупному счету потерь оплачено Дмитрием Медведевым открытие этих простых и не безобидных истин, обнародование которых, по очевидной логике, должно вызвать неудовольствие тех, кто намеренно выдает ложь за правду, правду — за хулу, критику — за навет.

«Мировое зло, — говорит Медведев, — прячется в искусственно созданных противопоставлениях. Экономических, культурных, национальных. Принцип «разделяй и властвуй» действует безотказно. Он незаменим не только относительно людей, но и относительно времени. Даже время мы разделили на прошлое и будущее! Настоящего как бы не существует, и это позволяет... дьяволу придумывать и внедрять любые теории, любые методы. Например? Например, разрушение последовательности. Оно проходит всегда безнаказанно, потому что результаты сказываются намного позже...»

Что же впереди?

Впереди, как одно из предупреждений романа, — реальная угроза остаться без будущего.

Сама мысль об этом, ее развитие и художественное воплощение в романе не лишены противоречий. Негоже игнорировать их, в них надо разобраться, по мере возможности отваять зерна от плевел, памятуя, что через преодоление их прошли свой путь от оши-

бок, заблуждений, сомнений к пониманию смысла жизни вообще и своего собственного в ней места и назначения герои романа.

Конечно, это, в первую очередь, Медведев, готовый подставить свое плечо опорой отечеству. Но это и Славка Зуев, нашедший и в малом деле большой смысл, когда занялся реставрацией прошлого в моделях кораблей, и тот же Иванов, перешедший от слов к делу, когда встал на пути Бриша, чтобы не дать ему отлучить сына Медведева, Ромку, от отца. Кстати, все это происходит в настоящем времени романа. Из нашего настоящего, из сегодняшнего дня друзья Медведева тянут связующие нити и к прошлому, и к будущему. И уже поэтому нельзя, например, безоговорочно признать эмоционально-пылкое утверждение, что настоящего для нас как бы не существует... Иное дело — в какой мере и степени, как глубоко оно осмысливается нами.

К сожалению, в массе своей мы бываем порой наплевательски равнодушны ко всему, что творится вокруг. Спросим себя, часто ли мы задумываемся в тесноте буден, в суете над ходом жизни, смыслом бытия и назначения человека, и почему это «бесы всегда ругают прошлое и хвалят будущее», отчего оно для них «вне критики»? Нет, отмахиваемся, некогда, спешим!.. Да и что нам до высоких материй? На то, дескать, есть государственные умы, есть философы, политики, социологи. Есть, наконец, целые институты, где люди думают. Им там за это деньги платят, у них работа такая!.. В общем — позиция обывателя. Тем паче, что и в институтах тоже нередко забывают, чей хлеб едят... Вот так и приходим к тому, что забота об общем благе перестает быть заботой всех и каждого. И если каждый из нас гражданин по паспорту, то где же Гражданин подлинный — с его правом, его возмущением, его обязанностью и его ответственностью за общество и перед обществом?

Еще вчера мы ограничились бы здесь только вопросом. Сегодня общественная ситуация если и не изменилась полностью, то — меняется решительно и к лучшему. Время набатным колоколом зовет каждого к правде и к действию. Общество пробуждается, но при этом все неудовольствие гражданинчика, очнувшегося от обывательской спячки, обрушивается не на пожар, а на того, кто бьет на площади в рельсу. Это равно относится ко всем сферам общественной жизни, в том числе и к литературе, в том числе и к В. Белову, честный и мужественный роман которого обличает равнодушие, не дает нам уйти от вопроса: что же там, впереди?..

Ко многому обязывает нас понимание того, что преднамеренное искажение принципа последовательности, по чьей бы подсказке и чьими бы руками оно ни совершалось, имеет далеко идущие последствия и цели. Саженец, не посаженный сегодня, не даст плодов завтра. И право же, стоит не раз оглянуться и задуматься: отчего так быстро оскудевают наши природные богатства, отчего мелеют и становятся затхлыми некогда быстрые и полноводные реки, отчего исчезают с лика земли ее глаза — чистые, светлые озера, отчего так бесхозяйственно и бесстрастно повыврублены леса, осушены болота, перепаханы поймы, отчего стерты в пыль древние памятники, отчего и кто отнял собственные имена городов, оставленных нам в наследство, отчего не складывает народ и не поет своих песен, отчего живая, здоровая по духу культура народа заменяется эрзацем, отчего процветают взяточничество, воровство и изощренных форм мимикрии и выживаемости достиг бюрократизм, отчего, наконец, когда во всем этом обнаруживаются причины и объясняется вред, не находится виноватых? Не оттого ли, что обезличка, безответственность, круговая порука надломили хребет законности и демократии до такой степени, что их приходится реанимировать.

Список потерь, по сравнению с тем счетом, который предъявляют прежде всего себе, своему времени герои романа В. Белова, далеко не полон. И какая глубокая боль за этим! И как же при этом «сохранить совесть, будучи сильным и независимым?» — вопрос, собственно, обращен к нам, к каждому отдельно и ко всем вместе.

Кем-то сказано, что противоречия создают образ. Художественный образ. Может быть, это и так. Но можно ли избежать заблуждений, если быть сразу и консерватором, и ретроградом, и максималистом, и резонером, и пророком, «прозревающим будущее»? Когда Медведев ополчается на технический прогресс, на сопутствующие ему издержки, В. Белов здесь оказывается во власти героя. Созданный им характер настолько выразителен и могуч, настолько все захватывает и подчиняет себе, что писателю, кажется, не удастся верно соотнести тезу и антитезу или, в всяком случае, выразить это соотношение с внятной однозначностью. Вот, хотя бы при противопоставлении, вольном или невольном, деревни городу, противопоставлении, исходящем из принципа самообеспечения и выживаемости деревни.

На первый взгляд, в каких-то частных случаях верно, что крестьянская изба «способна на длительное самообеспеченное существование. Причем... не только во время войны. Поэтому так яростно и уничтожаются во всем мире крестьянские хижинки!»

Верно это прежде всего по отношению к вчерашней избе. Действительно — хижине. Тут за деревней историческая правота и сила. Но можно ли вернуться к ней? По логике, предложенной нам героями романа, колесо истории должно повернуть вспять. А как далеко вспять? При этом не забыто ли, не упущено ли из виду, что такое деревня современная? Привязанная к электрическим проводам, подключенная к газовым трубам, самообеспечивающая себя нередко — и все

больше! — магазинным хлебом и молоком, она вряд ли способна на длительное автономное плавание. Главное же, что и в старой деревне, там, где она еще цела, живут сегодня новые люди.

Скорее уж крестьянские избы уничтожаются по всему миру как символ, кряж всякой национальной самобытности, как ячейка генетической памяти психофизических и духовно-нравственных свойств нации, обеспечивающих ее самобытность и жизнестойкость во времени.

Из этого, однако, не должно следовать противопоставление города и деревни. Не только из-за очевидной разницы деревни вчерашней и сегодняшней, но и из-за того, что вчерашний город и город сегодняшний едва ли не в большей степени рознятся друг от друга, чем сравниваемые с ними деревни. В бурной полемике на эту тему мы подчас забываем сказать, что сегодня город и деревню отличает не столько способ хозяйствования, производства, сколько степень человеческой общности или разобщенности, личной близости и мера участия одного в судьбах других. Видимо, свои, более глубокие, чем упомянутые героями В. Белова, закономерности социально-исторического порядка предопределяют широко наблюдаемую во всем мире трансформацию деревенского и городского уклада жизни, их все более тесных, жизненно важных взаимопроникновений с противоестественными, может быть, и неизбежными в таком глобальном процессе потерями и обретениями.

Нормальное развитие общества должно полниться обретениями, а не потерями.

Утверждая эту мысль, В. Белов, надо полагать, рассчитывал на большее внимание читателей, нежели то, которое в этом вопросе дружно продемонстрировала критика. Но это противоречие в романе скорее формальное, чем существенное. Пока ни Медведев, ни Иванов, ни тем более Бриш в деревню из города не

торопятся. Спор, на наш взгляд, занижен слишком большой конкретизацией, что встает за понятиями крестьянской избы, крестьянской хижины. Критике стало легче вмешаться в него, чем задуматься над тем, что отстаивают Медведев или Белов, — для этого, может быть, следовало обратиться к прямым высказываниям писателя о деревне.

Для любознательных читателей. И в прежнем своем творчестве, и в романе «Все впереди» В. Белов строго следует гуманистической традиции искусства: его символы соотнесены с нормами народной морали и нравственности. Конечно, крестьянская изба — это символ деревни. Какой? Вот, для пояснения этого, хотя бы два отрывочка из книги В. Белова «Лад», из главы «Деревня»:

«Любое горе и любая радость в деревне были на виду. Мир знал все обо всех, как ни старались щепетильные люди не выносить сор из избы. Другие, более бесшабашные, махнув рукой или в простоте душевной, на общественный суд выкладывали даже излишние подробности. Но суд этот всегда был разборчив: одно принимал он всерьез, другое не очень, а третьего не замечал вовсе».

Вот и нам бы так в критике — поразборчивей, а?! Но продолжим:

«Родная деревня была родной безо всяких преувеличений. Даже самый злобный отступник или забулдыжник, волей судьбы угодивший куда-нибудь за тридевять земель, стремился домой. Он знал, что в своей деревне найдет и сочувствие, и понимание, и прощение, ежели нагрешил... А что может быть благодатнее для проснувшейся совести? Оторвать человека от родины означало разрушить не только экономическую, но и нравственную основу его жизни».

Тут и без комментариев видно, что идеал писателя

ищет опоры не в архаике, как таковой, а в соотношении и связи нравственных основ жизни с совестью человека. Как раз в силу этого, в силу этой веками утверждавшейся связи между совестью человека и его общественным поступком, символ деревенского лада как бы извечно входит и наполняет собой понятие родины. Все это актуально и сегодня, даже в эпоху НТР, и сегодня, может быть, потребность общества в совестливости и нравственности всех его членов острее и нужнее, чем когда бы то ни было раньше.

Альтернатива выходящему из повиновения техническому прогрессу, с необузданной стихийностью влияющему порой на все в нашей жизни, в том числе и на безудержный рост мегаполисов и разрушение деревень, видится в соединении общих усилий для того, чтобы «насилие над природой не выходило «из-под нравственного контроля» (разрядка моя. — В. Г.).

Похоже, что В. Белов здесь гораздо более реалист, чем все одергивающие его за агрессивность к прогрессу, к мнимому прогрессу. Само понятие «насилие», конечно, жестковато, но что поделаешь, если согласи я с природой за долгие века «царствования» над ней мы пока не достигли, хотя об этом, вероятно, мечтает все человечество. Прийти к согласию с природой люди смогут, достигнув, прежде всего, нравственного контроля над собой, своей судьбой и историей. В противном случае смертоносный фантом термояда не пощадит ни отдельный фрегат, ни целую флотилию крестьянских изб.

Трактовка роли крестьянской избы или хижины в истории прошлой, настоящей и будущей может быть оценена и как частное противоречие романа, и как утверждение, с которым читатель вправе не согласиться. Но это противоречие не снижает значения и не разрушает в целом четкой последовательности автора

в утверждении нравственно-несущей мысли романа о связи, о соединении времен.

Сама по себе мысль эта оказывается для романа концептуальной. С развитием действия она обрывает противоречиями, но через осмысление этих противоречий героями В. Белова, через преодоление сомнений и ложных выводов она как бы очищается от шелухи предвзятых толкований. Идет очищение и приближение к истине.

Эмоциональные и трезвые суждения Жени Грузя, поразившие Медведева сходством с собственными мыслями, все или почти все ставят на свои места. «Опасность идеализации прошлого... есть, но она не соизмерима с идеализацией будущего». Плохо, что еще в недалеком прошлом мы «жили так, словно нам никогда не будет конца», мы романтически грезили о будущем, не замечая, как беспечно, порой, «отрекались от своего настоящего, то есть от самих себя».

Вообще фигура Жени Грузя, хотя ей и отведено в романе сравнительно немного места, является важной в понимании идейно-философской структуры этого не простого в понимании произведения В. Белова.

Итак, Грузь, с одной стороны, — романтик, оптимист, как-то исподволь, тихо, незаметно, но сосредоточенно-глубоко прозревающий настоящее положение народа, задумывающийся над его судьбой. В этих раздумьях Женя Грузь открывается как философ, даже мудрец, и уж во всяком случае — как диалектик.

«...Нам кажется, что все впереди, — читал Медведев в одном из писем Жени Грузя к младшему брату (формально как бы выпавшему из повествования, и потому возникает вопрос: к брату ли письмо? А не к новому ли поколению обращался он, связывая с ним, с его трезвой, жаждущей общественной активности деловитостью, свои надежды?). — Для нашего детства, отчасти для отрочества, подобное ощущение было реальным и справедливым. Но уже в юности оно таило в себе

угрозу ошибок и заблуждений. Мы не заметили этих угроз. Едва освободившись от детских пеленок, мы барахтаемся под покровом романтических грез. Мы жили так, словно нам никогда не будет конца. Но наши мечты о будущем, не теряя своих возможностей к реальному воплощению, таили в себе опасность бездействия и ложных путей. За идеализацию нашего будущего и прозвали нас оптимистами. Со всей безоглядностью и верой в справедливость подобной оценки мы ежеминутно отрекались от своего настоящего, то есть от самих себя».

Можно сколько угодно метать громы и молнии по поводу того, что Грузь ставит вопрос о безмерности или правомерности нашей платы за безудержный романтический оптимизм, но, право, стоит задуматься и над тем, к чему может привести отречение от самих себя, от настоящего — во всех смыслах этого слова. Да и потом: не связано ли всякое продвижение вперед с трезвой и критической оценкой уже пройденного?!

Перед нами по форме — письмо, по сути, по смыслу — письмо брату, единомышленнику. Вчитываясь в него, ловишь себя на мысли, что, поддаваясь бесстрашию оценок и выводов этого человека, теряешь тот зыбкий конкретный след, где мотив собственно частного послания переходит в общественное воззвание, так глубоко созвучное, а в чем-то даже и опережающее сегодняшнюю революционную философскую мысль.

«Мы обязаны жить. Но как? — продолжает Грузь.— Мне кажется, что для нас нет выбора и в способе жизни. Одна лишь ясность ума, наше мужество и жажда добра помогут нам выстоять среди лжи и страданий. Но прежде надо сбросить с глаз пелену иллюзий. Давай же попробуем отодрать ярлык мнимого оптимизма, который жизнь так коварно приклеила нам! Ведь нам все еще кажется, что все впереди...».

Нет, не случайно эти последние слова, звучащие

рефреном, взяты В. Беловым в название романа. Впереди все — только в том случае, если нашей нравственной опорой, опорой всех наших деяний будут ясность ума, мужество и жажда добра, несовместимые с понятиями зла и лжи. Роман В. Белова как бы отрицает подчеркиваемую Грузем всю иллюзорность наших прежних, юношеских, романтических, безудержно оптимистичных представлений о будущем — представлений, количественное и временное накопление которых требует перехода в иное качество, в иное — трезво реалистическое — осмысление будущего, да и настоящего.

С другой стороны, пусть и на немногих страницах, но Грузь выведен в романе не просто как резонер, мечтатель, философ, но и как реальный человек, занимающийся конкретным делом. Кто же он в этой ипостаси? Младший научный сотрудник, на идеях и разработках которого кто-то выехал прямо в лауреаты, а кто-то другой в академики? Да к тому же, если верить Медведеву, — «он бы выволок в членкоры еще столько же дураков!»

Такая откровенность непривычна, такая откровенность, когда человека умного можно назвать умным, а дурака — дураком, шокирует эстетские лбы. А между тем, если бы эти слова принадлежали не Медведеву, а Грузю, если бы даже он высказал их прямо в глаза соискателям разных степеней и званий, пользовавшихся его идеями и разработками, — ни один из таких соискателей от услуг Грузя не отказался бы. В чем тут дело, и почему одни читатели при столкновении с такой правдой самодовольно ухмыляются, а другие испытывают чувство неловкости и стыда? Не потому ли, что все мы знаем, что при застое научной мысли, мысли управленческой, хозяйственной и пр., и пр., едва ли не в каждом трудовом коллективе, едва ли не под каждым старым пер... — начальником есть такая тихая неприметная серая лошадка, которую народ называет

не иначе как рабочей лошадью и которая-то и тянет воз в гору или не дает ему скатиться с горы?!

Так кто же он, этот Женя Грузь? Неприметный, но притом многочисленный, герой нашего времени? Может быть. И может быть, мы бы знали его лучше, и знали в лицо, если бы наша литература едва ли не со времен Галины Николаевой не перестала интересоваться такими скромными прозаическими причинами, почему, при каких обстоятельствах идут вразнос не только маховики или балансиры тяжелых машин, но и разрываются от перегрузок человеческие сердца. Уж коли все связано неразрывно в природе вещей, то в природе общественных явлений тем более.

Почему же гибнет в романе Грузь, почему не стал он центральным действующим лицом романа? Ведь внутреннего потенциала для любой ведущей роли у него достаточно.

Вряд ли в таком распоряжении судьбой героя сказалась прихоть автора, и не такого уровня творчества перед нами писатель, чтобы лишь случайным стечением обстоятельств можно было объяснить гибель человека, в известной мере символизирующего собой творческие возможности народа, не нашедшие достаточного и достойного применения.

Припомним опыт прошлого: классическая русская литература дала немало образов идейных выразителей своей эпохи, которые намного опережали время и потому оказывались «лишними людьми», не нашедшими применения своим способностям, потому, в сущности, они и гибли.

В романе В. Белова «Все впереди» есть конкретно-метафорическое объяснение причины гибели Жени Грузья,— объяснение это мы слышим от Бриша: если бы он, Грузь, не полез в схему, все было бы... иначе, надо полагать! И это, пожалуй, истинная причина того, почему Грузь так и не смог, и не смог бы в прежних условиях занять в жизни, в науке, на про-

изводстве подобающее ему место. Ведь прерогатива составлять схемы, менять их, моделировать действия не только машин, но и людей в романе однозначно и небезосновательно принадлежит Бришу. Во всяком случае, сам Бриш нисколько не сомневается в этом и в этом видит свое преимущество над и перед другими людьми.

Так неужели и у В. Белова Грузь — «лишний человек», опередивший время? Увы, он запоздал явиться в жизнь, когда более всего был необходим обществу именно как человек действия, — в эпоху бурных революционных перемен, энтузиазма и героической романтики. Такое время переживала страна с семнадцатого до... тридцать седьмого года (хотя точнее будет сказать, что насильственная деформация революционного романтизма наступает, видимо, там и тогда, когда начинается подмена народных идеалов честолюбивыми целями непомерно честолюбивых людей).

Так неужели теперь, повторим мы вслед за Женей Грузем, понимая все это, нам остается лишь безропотно впасть в «другую крайность, решив, что впереди у нас ничего уже нет»?

Объемный смысл названия романа как бы расширяется постоянно эксцентрическими кругами. Нет, все впереди, только чужой дядя счастливое будущее на блюдечке нам не преподнесет, скорее это будет чернобыльское яблоко на тарелке, — свое будущее надо строить самим, трепетно и настойчиво укрепляя фундамент прошлого и стены настоящего.

Для любознательных читателей. Чернобыль стал символом общей человеческой беды, грозным предупреждением возможных катастроф глобального масштаба. Осмысление случившегося в Чернобыле — тоже общее дело. Трагедии этой посвящены ты-

сячи газетных строк. Собраны тома рапортов и отчетов об аварии, сделаны весомые заключения экспертов, тщательно выверены максимально объективированные выводы правительственной комиссии. В решении Политбюро ЦК КПСС по докладу правительственной комиссии отмечено, что авария произошла из-за целого ряда допущенных работниками АЭС грубых нарушений правил эксплуатации.

Само нарушение подобных правил предполагает не только халатность человека, обслуживающего тот или иной участок, не только профессиональную недобросовестность, слабое знание технологии, но и заниженные до известной степени морально-нравственные критерии.

Обо всем этом, о том, что стоит за сухим, правдиво-лаконичным выводом правительственной комиссии и Политбюро ЦК КПСС, в печати было сказано немало горького и правдивого, были и серьезные обобщения специалистов, и конструктивные предложения. В частности, анализируя ситуацию в Чернобыле, академик В. А. Легасов, руководитель делегации советских специалистов на совещании экспертов МАГАТЭ в Вене, в беседе с корреспондентом «Правды» (см.: «Правда», 1986, 5 сент., № 248) сказал:

«Основная причина, как это и случилось в Чернобыле, — дефекты во взаимодействиях человека с техникой. И каждый раз это именно проблема взаимодействия (разрядка моя. — В. Г.), так как в оптимальном варианте машина и человек должны выручать друг друга при случайных отказах. Причем выручать автоматически! Но пока этой оптимальности не достигнуто нигде в мире».

Проблема взаимодействия человека с техникой на основе чернобыльского материала активно исследуется в пьесе В. Губарева «Саркофаг» (см. журнал «Знамя», 1986, № 9). При обсуждении этой пьесы в московском Доме ученых профессор, физик В. Соловьев обратил внимание на то, что «у людей,

ответственных за работу станции, не достало не только компетенции, а и твердых нравственных устоев. Когда разгильдяйство и халатность (категории не просто дисциплины, а морали) «состыковались» со слабым звеном технологии, произошла катастрофа».

Но ведь каждый из этих самых «людей, ответственных за...» и есть тот самый «дядя», которого мы должны благодарить за «чернобыльское яблоко». Иного вывода не может быть хотя бы потому, что предохранители аварийной защиты кем-то были выключены на станции или кем-то не включены. И уже как следствие — не сработала при перегрузках вся система аварийной защиты и самой станции и человека.

Тема Чернобыля имеет непосредственное отношение к проблематике романа В. Белова «Все впереди». Мир в последнее время стал свидетелем тяжелых аварий, не одной лишь чернобыльской, но и таких, как бхопальская в Индии или «фосфорная авария» в США, — все они явились в конце концов следствием извращения принципа последовательности. Нарушение одних правил, пренебрежение другими, отказ от третьих... — а результаты в итоге катастрофические. С учетом этого горького опыта предупреждающая мысль романа о неизбежности расплаты за любые уступки требованиям нравственного порядка приобретают грозные контуры беспощадной реальности.

В связи с этим стоит обратить внимание читателей на одно весьма важное, на мой взгляд, обстоятельство, о котором вскользь мы уже говорили. Правильное, то есть не предвзятое, объективное восприятие новаторства в творчестве, осмысление поднятых писателем проблем с точки зрения диалектической последовательности и философской глубины — все это требует не только сосредоточенности, работы мысли, но и времени. Фактор времени помогает нашему сознанию адап-

тироваться в той системе образов и напряженно пульсирующей энергии мысли, что составляет духовную атмосферу романа, определяет пафос романа и позволяет понять, почувствовать те внутренние законы, которые писатель поставил определяющими в своей работе.

Вспомним самые первые отзывы на роман «Все впереди». П. А. Николаев, О. Кучкина, П. Уляшов, В. Лакшин...— все они либо напрочь игнорировали, либо негативно высказались о якобы ложной, ложно преувеличенной тревоге писателя и его героев по поводу последствий безудержного, неконтролируемого роста «мнимого» и не мнимого научно-технического прогресса. Собственно, они игнорировали саму суть различий между прогрессом подлинным и мнимым, а отсюда и тревога писателя показалась им ложно-многозначительной. У Д. Иванова, менее торопившегося с публикацией своего отзыва о романе, времени для осмысления было больше. Правда, и этого времени не хватило ему, чтобы преодолеть схематизм в подходе к важнейшей проблеме романа, но все-таки оговорки, которые он сделал, сами по себе весьма примечательны.

Давая в перечислительном порядке все то, что требовало не столько суммирования, сколько осмысления, Д. Иванов пишет:

«Кстати, о серьезности первоначальных замыслов Василия Белова говорит, по-моему, и такой на первый взгляд противоположный (?! То есть несерьезный, что ли?! — В. Г.) вроде бы факт: в его книге очень много случайных, неоправданных катастроф, смертей, других катаклизмов. Гибнет Грузь, калечится Зуев, «необычно» умирает зять Иванова, самого Иванова бьют ночью по голове, невиданный в Подмосковье смерч таков, что «людей будто бы рвало на части»... Раньше бы к подобному набору следовало отнестись скептически, если не с ехидной усмешкой. Однако сейчас,— замечает критик,— после Чернобыля, после «Адмирала На-

химова», после множества других перекликающихся газетных сообщений, такая концентрация несчастий уже воспринимается как прозрение и как веское предостережение».

Казалось бы, тут и задуматься критику, коли есть у него, появилось ощущение авторского прозрения и веского предостережения, тут бы и разобраться, — ан нет, отступает, как бы понимая, что, танцуя от этой печки, можно поломать уже намеченные пунктиром выводы...

В. Белова вряд ли можно упрекнуть в грубом калькировании своих героев с натуры. Но сходство, тождественность их суждений с суждениями реальных людей, будь то академик В. Легасов или профессор В. Соловьев, просто поразительны. Как бы сама жизнь, кстати сказать, более суровая в своем стихийном протесте против насилия человека над природой, подтверждает важность и актуальность идей, высказанных в романе. В свою очередь, писательская прозорливость подтверждается художественной убедительностью и философской значимостью его прозы.

Признавая, вместе с автором романа, недостаточность «твердых нравственных устоев» в современном обществе, мы не можем рассматривать частную «проблему взаимодействия» человека и техники иначе, чем как одну из составляющих проблемы взаимодействия человека и природы.

Почему вопрос ставится так категорично?

В свое время великий русский физиолог И. Павлов как бы в предвиденье кричащих противоречий между потребительским и хозяйски-рачительным, сыновьим отношением к матери-природе, писал, имея в виду человека:

«Мы имеем дело с одной из последних тайн жизни, с тайной того, каким образом природа, развиваясь по строгим, неизменным законам, в лице человека стала осознавать самое себя».

Но коль скоро человек суть олицетворение природы, то разве не справедливо, что В. Белов и его герои склоняются к тому, что единственным гарантом сохранения жизни на Земле, гарантом предотвращения губительных для человечества технических, биологических, экологических катастроф может быть лишь все возрастающий в человеке нравственный стержень, исключаяющий всякий разлад, всякое насилие над природой. Писатель прав, указывая на прямую зависимость нравственных устоев общества и человека, на то, что сама нравственность формируется в условиях широкой гласности и полной правды общественного мнения. Отсюда ясно, что высокая мораль, честность, профессиональная и нравственная чистоплотность людей, ответственных за социальный и научно-технический прогресс, обретают действенность лишь при поддержке общества, во взаимодействии его здоровых сил.

Упрекая героев В. Белова (а чаще самого писателя!) в негативном отношении к достижениям науки и техники, критика пытается не разобраться в сути проблемы, а спешит представить самого автора романа таким «мамонтом, вылезшим из-под ледника», ничтошеньки не смыслящим в прогрессе. Но давайте спокойно вчитаемся и вдумаемся, на что упирает тот же Медведев в разговоре с Ивановым:

«Останавливать надо не только гонку вооружений, но и гонку промышленности. Техника агрессивна сама по себе. Технический прогресс заворачивает обывателя» (разрядка моя. — В. Г.). И в этой же тираде Медведев обращает внимание Иванова, а стало быть и наше, на «безграничное доверие (завороженного прогрессом обывателя. — В. Г.) ко всему отчужденно-искусственному. К водопроводной воде, например, к газетной строке. А к лесному ручью и к устному слову — никакого доверия!»

И далее, как попытка объяснения дисгармонии в от-

ношениях людей между собой, в отношениях их с природой, с прогрессом, как попытка нащупать принципы выхода из тупика к гармонии с миром:

«Все в общем-то сводится к правде и лжи, к искренности и тайне. Неискренние борются с искренними, обманывают совестливых (это ведь нравственные и моральные аспекты! — В. Г.). И побеждают. Да еще говорят: вы дураки, а дуракам так, мол, и надо».

«И ты считаешь, что можно выжить, будучи искренним?» — спрашивает Иванов. Тут надо заметить, что в контексте их разговора само понятие «выжить» относится не столько к судьбе одного человека, сколько к судьбам государств, народов, к судьбе отечества. И это придает их спору особую значительность.

Дмитрий Медведев в ответ категоричен, и категоричность его продиктована нравственным императивом, безусловно, созвучным убеждениям автора романа:

«И можно, и должно! Более того, дорогой Александр Николаевич, только так, наверное, и можно выжить».

Не этот ли нравственный императив воистину стал велением нашего времени, поставив в повестку дня на обсуждение всех государств и народов принципы нового сознания, нового мышления в международных делах, в политике сближения жизненных интересов и обеспечения мирного сосуществования и развития разных общественных систем?! И если это так, разве мы можем сказать, что поиск героями Василия Белова альтернативных решений безудержной гонке промышленности и технического прогресса ведет к тупиковым позициям и обреченности? Это было бы извращением и сути, и смысла их поисков, побуждающих и нас, читателей, к отказу от привычных, нередко консервативных догм, с которыми связаны «застойные явления» в жизни страны, в общественном и личном сознании.

Но может быть, критикам романа В. Белова не по

нраву другое? То, например, что неистовость Медведева заразительна! Что она целенаправленна и носит воинственный антимещанский характер. Она застревает, как клин, в горле «завороженного обывателя», которому абы день — да его, а завтра — хоть потоп и трава не расти. Уж если для детей не хотят жить, то что говорить о будущих поколениях... Каково же такому обывателю (в святой наивности, конечно, не считающему себя таковым!) принимать суд вчерашнего зэка, а ныне «строителя сушилок» в «стороне сельского хозяйства»? Единственное, что в такой ситуации обывателя ничуть не смущает, так это то, что хлеб он ест, проветренный в тех же сушилках... И, чтобы не бередили душу, не смущали ум беспокойные терзания и совестливые вопросы героев В. Белова, уж лучше все упреки переадресовать чохом самому автору... А того лучше — представить роман мелким, несостоявшимся, не отвечающим якобы тому уровню мастерства, которого достиг В. Белов, занимаясь сугубо «своей», деревенской темой.

Для любознательных читателей. Нельзя не вспомнить здесь еще один «парадоксальный» факт, достойный общественного внимания.

Суть «антипрогрессистских» обвинений в адрес В. Белова сводится, в общем, к тому, что автор в своем романе чрезмерно сгустил краски и запугивает, мол, неосведомленного читателя картинами апокалипсического будущего человечества. Апокалипсическое будущее, даже как модель, как предупреждение человеческому сознанию — не наш удел, — этим, уж куда ни шло, пусть занимается западная, буржуазная, упадническая литература... Однако, хотя «неисправимые оптимисты» будут, видимо, продолжать так думать даже тогда, когда удушающая петля извращенного в своем развитии прогресса станет затягиваться на их горле, не грех все же признать, что и на Западе эта

предупреждающая об опасностях перекосов технократической цивилизации литература сделала немало полезного в формировании трезвого реалистического мышления. Нравственная озабоченность людей о своем будущем побуждает многих из них, независимо от политических взглядов, философских и религиозных убеждений, социальной принадлежности поднимать голос в защиту мира, выступать против ракетно-ядерной гонки, становиться активными защитниками окружающей среды...

Кроме того, умеряя негодование по этому поводу оппонентов В. Белова, нелишне припомнить, что в советской литературе кроме В. Белова были и другие писатели, и другие произведения, в которых звучал тот же страстный и взволнованный призыв к людям остановиться, оглядеться, одуматься, пока не поздно, к чему, к каким последствиям может привести технический прогресс, игнорирующий законы природы и нравственности. К таким произведениям наша критика отнеслась в лучшем случае с холодным, сдержанным вниманием, хотя среди их авторов есть и такие, что снискали мировую славу, признаны советскими классиками. Достаточно вспомнить и назвать здесь киноповесть-памфлет Леонида Леонова «Бегство мистера Мак-Кинли», не только опередившую сознание времени.

Появилось это произведение почти тридцать лет назад (1960). Писатель, из опасений оказаться тогда вовсе непонятым, вынужден был снабдить киноповесть небольшим предисловьем, в котором, в частности, разъяснял наиболее и совершенно очевидное, чтобы хоть в этом его не извратили:

«На примере заурядного человека автор стремился показать переживания многих честных и симпатичных людей на Западе, также накидать предположительный ход вещей, если дело с разоружением затянется и международная жизнь останется без изменений».

Но еще более симптоматично другое пояснение Л. Леонова, прямо и непосредственно перекликающееся с тем художественным приемом, который использовал в своем романе и В. Белов и который вызвал наиболее оголтелую критику в адрес романа «Все впереди».

Л. Леонов пишет:

«Хотя и недолговременное появление дьявола — в разговоре со священником — не должно смущать присяжных мыслителей. Это всего лишь условная философская категория, принятая на Западе в рассуждениях о добре и зле».

Но ведь после «Бегства мистера Мак-Кинли» был еще и М. Булгаков с его «Мастером и Маргаритой», где дьявол содействовал уже как полноправный хозяин жизни. Так отчего же иные критерии, а не эти, утвержденные классикой, применяются к дьяволу и темной бесовской силе в романе В. Белова? И не является ли такой подход к роману В. Белова свидетельством нарушения принципа последовательности в самой литературе, точнее — в литературной критике?!

Не является ли косвенным следствием такого подхода к литературе и то обстоятельство, что на долгие годы затянулась работа Л. Леонова над новым предупреждающим романом, публикация отдельных фрагментов которого («Мироздание по Дымкову» — журнал «Наука и жизнь», 1974, № 11, журнал «Новый мир», 1984, № 11; «Последняя прогулка» — журнал «Москва», 1979, № 4; «Спираль» — газета «Правда», 1987, № 49), как бы рассчитана на психологическую подготовку читательского восприятия новых подходов и новых категорий сознания и всей проблематики романа.

Так что же, не имеем ли мы в этих вещах, а отчасти и в новой прозе В. Белова, дело со старым патмосским жанром — то есть с изложением современных версий апокалипсического будущего, впервые

*предреченного человечеству апостолом Иоанном Бого-
словом, сосланным, согласно библейским преданиям,
римлянами на остров Патмос? Может, и так, и хорошо,
если бы так, когда бы от прозрений современных ху-
дожников не исходил такой пугающе-осязаемый в своей
реальности холодок космической бездны.*

*Для более ясного и концептуального представления
о тревогах и озабоченности беловских героев будущим,
которое создается нами сегодня, нелишне будет озна-
комление хотя бы с некоторыми представлениями о воз-
можном апокалипсисе героев новой прозы Л. Леонова:*

*Вот, например, краткий, но полный ирони и сар-
казма экскурс «будущего светоча наук» Никанора Втю-
рина в предысторию человечества, обреченного на за-
служенное им, то бишь человечеством, будущее в силу
неких разногласий между силами Света и Тьмы, —
Добра и Зла в соответствии с нашими нынешними
представлениями о движущих силах человеческих по-
ступков и судеб:*

*«...диктуемая горечью утраты своего первенства
в обители Света и жаждой мести соперникам, и воз-
никла деятельная и дальновидная неприязнь их к лю-
дям, за которую апостол увенчал владыку Тьмы за-
служенным прозвищем человекоубийцы. И не
потому ли с тех пор, при наличии закаленных кадров,
сжигаемых надеждой вернуться на прежние высоты, не
произошло ни одной с его стороны попытки реванша,
что демонской гордыне требовалось, чтобы возлюб-
ленные, прежним фаворитом предпочтенные детки
по собственному почину подняли меч и бич против
Отца и дарованной им жизни и, смытаясь в небытие,
сами черным ветром ненависти подмели бы догола
замусоренную планету? Согласно изложенной доктри-
не было бы для мстителей оплошностью упустить ны-
нешний неповторимый шанс сделать человечество
единовременно полем битвы, трофеем, ударной силой
против самого себя».*

Это отрывок из «Мироздания по Дымкову». Вдумайтесь, вчитайтесь в него неторопливо, примите иронию и сарказм за способ говорить истину о горьких, непроезжих, в сущности, предначертаниях и вы содрогнетесь не столько от ужаса, сколько от осознания коварства дьявольских планов посеять среди людей рознь и ненависть, чтобы человечество изгубило себя с а м о. Такова, собственно, современная доктрина Зла.

И вот как эти замыслы, в одном из вариантов леоновского прочтения будущего, осуществлялись, к чему они привели, — отрывки из фрагмента «Спираль»:

«Когда же в целях мобилизационной профилактики машины внушения стали включаться на всю ночь, человечество окончательно вошло в полосу еще не известного физиологам массового псевдонаркотического опьянения, чем доказывалась вполне достижимая магнитная полярность живого вещества. По всем признакам наступала критическая фаза схватки, когда ничего не жалко для одоления противника, вплоть до собственной башки в качестве булыжника. Взрывался теперь самый мозг человеческий, тем самым знаменуя под занавес примат человеческого духа над косной материей».

Так закладывалось противоборство двух половин человечества. Подчиняясь непреодолимом; воздействию машин внушения, — «километрами растянувшиеся потоки полярно заряженной человечины сходились на излете физических сил, зверея по мере сближения с целью и утрачивая последние признаки своей божественной чрезвычайности в природе. В силу вязкости и пластичности все еще живого вещества соударение колонн происходило не встык, а со скольльзящим фланговым заходом, спирально взбираясь по зыбкому настилу еще трепещущей людской рвани и в свою очередь вращаясь и валясь под ноги все новых, подступающих с горизонта, контингентов».

Как бы упреждая упреки тех, кто всю фантазмагорию возможного конца человечества готов списать как издержки больного воображения, Л. Леонов замечает:

«Вопиющим неправдоподобием подробностей лишь подтверждается достоверность любых событий истинно апокалиптического жанра».

После свершившейся катастрофы, когда и люди, и машины уже уничтожили друг друга, лишь редкие из оставшихся в живых — «возвращавшиеся из глубинных шахт, космических рейсов, экспедиций со дна морского заставали непривычной формы могильники, размещавшиеся преимущественно на веками натоптанных, некогда караванных тропах планеты. В силу не по сезону задержавшейся теплыни, даже при наличии мужества и в надежном противогазе, немислимо было взглянуть поближе на терриконы падали людской, масштабно сходные, несмотря на происшедшую усадку, с пирамидами древности — при округленных углах и с неприличной завитушкой наверху».

И здесь Л. Леонов с завидной философической последовательностью возвращает нас к началу начал, к исходному конфликту Добра и Зла, Света и Тьмы, предопределившему, при известном условии, саму состоятельность, вероятность, возможность гибели человечества.

«Философская логика событий, — пишет он, — подтверждается двумя формулировками равной ценности. Память возвращается к исходной всему размовке *Н а ч а л*, откуда, по мнению о. Матвея, и зародилось трепетное пламя всяческой жизни в оболочке зримого мира. Роль последнего слова в небесном диалоге и должна была, видимо, сыграть гекатомба человеческая, брошенная антиподом к подножию Творца. «Вот, я обещал показать тебе, Предвечный, на кого променял ты верных своих». Приведенная Никанором реплика оскорбленной стороны выдает це л е

вую злонамеренность акта (разрядка моя.— В. Г.), именно низведение божьих фаворитов на уровень заурядной твари, точнее, гончарных черепков, что согласуется с другим таким же, но вряд ли из того же источника документом». Это была надпись на прибитой гвоздем к покосившемуся столбу-памятнику фанерке: «здесь сотлевают земные боги, раздавленные собственным могуществом».

О, как непомерно ты и алчно, человеческое честолюбие!..

В. Белов и Л. Леонов, как не трудно убедиться даже при знакомстве с фрагментами из романа одного и романом другого, озабочены в первую очередь тем, чтоб донести предупреждающую мысль в своем времени своим современникам. Естественно, что, разоблачая дьявольские планы, они должны получить удар с его стороны. И даже при беглом сравнении произведений видно, что философская мысль, движущая пером и того, и другого, определяет и жанр, и характер их прозы как прозы философской. То, что различает романы, но не противопоставляет их, заключено, прежде всего, в выборе точек зрения. У Л. Леонова это прозрение будущего как бы с космических высот; у В. Белова — взгляд из реальной современности, это как бы взгляд человека на самого себя. То и другое равно заслуживает внимания, — важно, чтобы при этом совершалось приближение к истине. И когда от этой истины читателя хотят увести, запутать в нагромождении мелких деталей и мнимых противоречий, то противная сторона, надо полагать, осознает ее огромное созидательное значение.

На защиту идеологии и жизненных интересов разоблаченного В. Беловым «завороженного обывателя», естественно, первой должна встать обывательская же и критика. И она встала дружно, горой, едко ирони-

зируя над писателем, обнаруживая если не полную беспомощность и растерянность перед романом, то преднамеренность и в игнорировании (полном!) философского пафоса необычного произведения В. Белова, и в издевочках над его героями, и в карикатурно искаженных пересказах содержания, и в заведомом смещении идейно-художественных и оценочных акцентов.

«Ругать телевидение за показ ритмической гимнастики, литературу — за Юлиана Семенова, эстраду — за «пугачевские песенки», торговлю — за фанту и пепси-колу — не слишком ли это мелко для романа и для такого серьезного писателя, как Василий Белов?!» — вопрошает в явном расчете на согласную обывательскую ухмылку растущий критик П. Уляшов, сам, как он признается, «напросившийся» на рецензию в еженедельнике «Литературная Россия» (1986, 5 дек., № 49) — органе Союза писателей РСФСР и Московской писательской организации. Критик с пылкой ретивостью противопоставляет свое однозначное мнение мнению писательской общественности, гораздо более объективному, прозвучавшему на недавнем пленуме Московской писательской организации.

С оскорбительной для литературы высокомерностью всезнающей, всесудящей простаковщины П. Уляшов в рецензии беспрестанно жеманничает, невольно раскрывая свои действительные намерения, когда вопрошает:

«Но, может, я утрирую, занижая и искажая идейный пафос романа?»

И дает далее снисходительное перечисление всего того, над чем, право, стоило бы поразмышлять серьезно:

«Ну конечно, тут есть и «высоколобые» рассуждения Медведева и Иванова, погибшего Грузя (в оставшихся после него письмах) о настоящем и будущем, о смысле и бессмысленности жизни, об апокалипсисе, моделировании, кибернетике и прочем. Но ведь и в них

те же скепсис и страх перед лицом прогресса в любом его выражении. И как в контексте подобных размышлений звучит название романа: «Все впереди»? Этак — то ли еще будет?!»

А еще говорят, что в своем отечестве пророка нет. Как нет, если с тебя могут снять штаны и выпороть публично только за то, что твои пророчества не угодили держащему хлыст:

«Так что же случилось с Василием Беловым, почему не удался его роман? Может, ответ содержится в его прежних книгах? Я открыл «Привычное дело», «Кануны», «Лад» — и сразу на меня пахнуло сочной речью (следа которой нет и в помине во «Все впереди»), ароматом лугов и трав, причудливыми перебранками мужиков и баб. И все это подано с любовью, даже с любованием, с чувством родства и сердечным волнением. Так вот в чем причина! Вот где движитель искусства. В любви. Правда, известны произведения, созданные из испепеляющей ненависти — ненависти ко злу. Но тем самым в основе их — опять же любовь к предмету, подвергающемуся воздействию зла. В романе же «Все впереди» нет ни любви, ни подлинной ненависти — лишь раздражение, которое менее всего способно приблизить художника к истине. Раздражение как творческий импульс никогда не служило правде, оно лишь угождало обывательским вкусам».

С последним выводом П. Ульяшова — о раздражении и к чему оно ведет, — следует согласиться, если принять, что это сказано им искренне и опирается на лично выстраданный опыт.

Может ли сложиться ощущение, что роман В. Белова «Все впереди» сгущает краски, излишне драматизирует общественную ситуацию, а голос автора слишком требователен к современникам?.. Да, такое ощущение сложиться может, но это — при необъективном, в лучшем случае — беглом, торопливом прочтении романа. Сам жанр романа философского обязывает

к чтению неспешному, вдумчивому, с карандашиком. Ведь роман — в духе времени, полон взыскующих истин, далек от идеализации как наших достоинств, так и недостатков.

К самому характеру такой прозы еще надо привыкать и привыкать, и многое в романе, возможно, откроется глубже, полнее, значительней будущим поколениям. Думать так позволяет не только первый опыт прочтения беловского романа, но и та интеллектуальная отчужденность, с какой критика отнеслась к интеллектуальной прозе последних лет Леонида Леонова.

Мы не можем скрывать от себя, что в жизни вечная борьба двух противоположных начал — добра и зла — носит конкретные формы. Более того, русская и мировая литература на разных этапах развития представили немало конкретных носителей той и другой идеи. И что интересно: если типологически тот и другой тип сохраняют во времени сущностную однозначность, то есть приверженность либо созидательному, либо разрушительному началу, то художественная конкретизация образов в каждом данном случае, в каждом новом произведении литературы связана с выражением духа, условий и обстоятельств изображаемого писателем времени и общества. И носители разрушительной идеи больше всего опасаются не того, что они будут названы, даже по именам, а того, что будут вскрыты их методы и способы, обозначены реальные цели, к которым они стремятся. Изображая в своем романе бесов как приверженцев идеи Тьмы, В. Белов последовательно решает жизнеутверждающие задачи, — может быть, поэтому Мрак в его романе, как он ни гнетущ, отступает перед светом простых человеческих радостей, глубоких и искренних чувств, к которым стремятся его герои как к идеалу Счастья.

Вероятно, современный философский роман не может не быть романом политическим, тем более, когда речь идет о проблемах жизнестойкости человеческой

цивилизации на рубеже второго — третьего тысячелетий нашей эры.

Ведь это общеизвестно, что политические идеи и политическая борьба стали сегодня одним из основных инструментов в борьбе народов за мир и существование без насилия. Политизация коснулась и все больше пронизывает все сферы общественного бытия, в том числе и искусство, и литературу.

Написанный в эмоционально-сдержанной манере, роман В. Белова «Все впереди» показывает не просто противоборство философских идей, но их зацепление с глобального масштаба доктринами экспансионизма, рассказывает о том, о чем политики, философы да и просто неглупые люди давно догадывались или знали точно — об идеологической агрессии, ведущейся тайными (да и не тайными!) средствами против нашей страны и стран социализма. Агрессии нравственного разложения, агрессии релятивизма и извращенности, развязанной наиболее реакционными силами международного империализма.

Тьма тьмы, не брезгуя в выборе средств, работает против нас: лидируют, задают тон фашизм, сионизм, масонство, космополитизм — все, резервирующие за собой идею и функцию мирового господства. Их излюбленный инструмент, наиболее пагубное выражение мирового зла — в «мерзости организованных общественных тайн», в тайных и нетайных организациях, провоцирующих «раздвоенность» личности, служение дьяволу с маской Христа на лице. Что может быть для человека унижительнее такого физического, да и духовного рабства!..

Самый несправедливый и пагубный упрек, который лишь преднамеренно может быть брошен автору романа «Все впереди», это обвинение его в антисемитизме, и нам бы даже в голову не пришло думать и говорить об этом, если бы уже не были сделаны подобные обвинения В. Белову. И что ж тут удивительного:

такой прием, сам по себе демагогический, хорошо отработан с подачи идеологов сионизма. Кричи громче: «держи вора!» — и не будешь пойман! И вот пример: роман едва появился, как газета американских буржуа «Нью-Йорк Таймс» поспешила назвать его антисemitским произведением.

Бывает, мы попадаемся на удочку, когда во вред против нас используют наше же собственное оружие: идею интернационализма, братства, испытанной в суровых проверках дружбы советских народов. Схема обвинений тоже весьма примитивна: если автор ввел в произведение отрицательный персонаж и дал ему еврейскую фамилию, то это якобы означает, что он порочит не одного Мишу Бриша, а всех евреев сразу. Абсурдно. Ведь никто не говорит, к примеру, что Гоголь, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов... опорочили русский народ, хотя среди их персонажей достаточно глупцов, подлецов, проходимцев, предателей, самодуров и разных прочих выроdkов.

Ну, Гоголь, Достоевский... даже Кочетов — те, которых нет, те, которых можно издавать выборочно (не Булгаков же! Не Набоков! Даже не Пастернак!..) или не издавать, как до сих пор не нашел дороги к широкому читателю роман «Чего же ты хочешь?», появившийся в свое время в журнале «Октябрь» и в республиканском издательстве в Минске, хотя в нем, еще два десятилетия назад, В. Кочетов резко и принципиально ставил вопрос о необходимости социальной перестройки, о пагубности насаждаемых из-за рубежа идей и стандартов маскультуры, разлагающих молодежь. Кому-то, видимо, надо, чтобы дорога в первую очередь была открыта миссионерам западной идеологии и западного образа жизни. Все боимся, что там нас «не поймут», а пусть бы за кордонами побайвались, что «мы не пойдем», не пойдем тех, кто мешает и попросту вредит нашей жизни. Забываем, что у советских — собственная гордость, списываем в разряд устаревшего то, что

является подлинно национальным, самобытным, как устарел для Бриша Владимир Маяковский, и эту мысль он походя внушает молодому поколению...

Что же до В. Белова, с его предупреждающим об опасностях идеологической интервенции романом «Все впереди», с его живой еще где-то в вологодских лесах Тимонихой, из которой он считает себя вправе судить и рядить о том, что делается, например, в Москве, например, в Париже..., то и роман, и писателя, и Тимониху можно, оказывается, дезавуировать в глазах читателей, тем более что рецептов для этого достаточно, а за наглость и бесстыдство в нашей критике, как известно, не презирают...

Один из аптекарских рецептов такого рода — в наложении табу, запрета на определенные темы, другой — в замене правды полуправдой, третий — в искажении замысла и выводов автора, четвертый — в отказе писателю в художественности. Набор может быть весьма разнообразным.

«...По мне и Бриш, пренебрежительно говорящий о «русской удали» и победе нашего народа в Отечественной войне, и Иванов, негодующий на чувствительность Бриша к антисемитизму, одинаково неприятны как люди, распалюющие, разжигающие самого темного рода социальные инстинкты, отнюдь не укрепляющие узы дружбы народов. Только недобрые люди могут радоваться порывам национальной розни и высокомерия, и всякого рода «выяснения отношений» приносят тут один вред».

Вот ведь даже до какого абсурда можно договориться: чем темней и запутанней отношения между народами, тем меньше надо лезть в эти отношения!.. А ведь это — смотря зачем «лезть». Когда народы четко знают, где клевета, где наветы, а где действительные противоречия между ними, они легко находят между собой общий язык, достигают понимания в самых сложнейших вопросах, причем без малейшего ущемле-

ния национальных чувств и национального достоинства и чести друг друга.

По правде говоря — а именно так названа статья В. Лакшина в «Известиях» (1986, 2—3 дек., № 337, 338) — критик говорит... неправду, заведомо смещая акценты в выгодную для его концепции сторону. Собственно, глумление, издевку Бриша над самоотверженностью и жертвенностью русского народа в войне с фашизмом он называет пренебрежительностью — мягко называет, а иронию, усмешку Иванова над двуличием Бриша величает негодованием, само же обращение В. Белова к негативным сторонам жизни, выявление такого негатива в образе Бриша, выявление всего сорного и наносного, что мешает пониманию и сближению народов, критик определяет навыворот — как «распаляющее, разжигающее самого темного рода социальные инстинкты». Подобное смещение понятий, по правде говоря, нужно критику для того, чтобы обвинить автора романа не меньше, чем в «яростной предвзятости», в «резко пристрастном отношении к изображаемым лицам». В общем, с одной стороны, «бей вора!» — и не будешь пойман, а с другой стороны — «не трогай наших!» — иначе вообще отлучим от литературы.

Да как иначе трактовать доводы и выводы критика, если неистовый ревнитель правды уже по самую шляпку, кажется, вбивает гвоздь в воображаемое распятие, когда вообще отказывает В. Белову в способности не то что творить, а и мыслить. Впрочем, не он один это делает. Разница лишь в том, что если полумаститый П. Ульяшов говорит об этом с прямолинейной самоуверенностью, заботясь не столько о понимании романа, сколько любуясь собой и пером-хлыстиком в своей руке, то полностью маститый В. Лакшин умеет сказать унижительные для писателя вещи с улыбкой пристойности:

«В Белове всегда привлекала русская его исто-
вость: то, что он говорил, было серьезно, выстрадано.
Здесь он как бы направил свой гнев не по адресу,
опрометчиво выбрал мишени и стал выглядеть меньше
самого себя: гнев заменил раздражением, скорбь — се-
тованиями, а мысль — суждениями».

Представляя роман «Все впереди» как творческую
неудачу автора, В. Лакшин основную причину этого
видит в том, что В. Белов, дескать, «направил свой
гнев не по адресу, опрометчиво выбрал мишени...». Странно здесь даже не то, что критик беззастенчиво
указует автору, куда и на что направлять ему свой
гнев (вместо того, чтобы разобраться, понять, почему
именно сюда и почему именно на это направлен гнев
писателя), выговаривает ему за ошибочный якобы
адрес в выборе антигероя (то есть Бриша!). Несколько
странно другое: отказывая на этом основании В. Бело-
ву в уме, в разуме, В. Лакшин-диагностик лишь раз-
вивает один из установочных тезисов П. А. Николаева,
о котором мы уже говорили: «изобразительная сила
и конструктивные выводы, понятийный уровень и у не-
которых именитых писателей, мягко выражаясь, весьма
несхожи». Дескать, не обращайтесь внимания на то, что
это крупные художники, ругайте их за то, что они
дураки, а каждый из них пусть потом сам доказывает,
что он не дурак...

Увы, приходится утрировать, чтобы заострить
мысль. И думаешь: как далеко от истины может уйти
и академическая наука, если она озабочена субъектив-
ным моделированием литературных процессов, а реаль-
ная перестройка жизни, соотношение жизненной правды
с правдой искусства ее волнуют лишь в той сте-
пени, в какой это отвечает заготовленным заранее схе-
мам. И когда читаешь сначала П. А. Николаева, а за-
тем О. Кучкину, П. Ульяшова, В. Лакшина, Д. Ива-
нова, невольно думаешь, а не имеем ли мы в этих
работах дело с «перестройкой» надстройки, пытающей-

ся диктовать литературе, а отчасти и обществу, народу свое узковедомственное мнение, требующей от писателя платы по фальшивым векселям. Ведь среди многих обвинений (голословных!) в неверном идейно-художественном отражении жизни писателем нет ни одного, которое выявляло бы в романе предвзятость или злонамеренность автора или указывало на гипертрофически искаженное им изображение действительности.

Однако же вернемся к В. Лакшину. И с улыбкой пристойности нельзя так откровенно передергивать «суждения» В. Белова и его героев. То есть «льзя» или «нельзя» решает для себя сам В. Лакшин, но, переступая черту пристойности, он, как кажется, гораздо больше теряет в глазах общественного мнения, чем приобретает.

Критик утверждает, например, что «домашний диспут» Иванова и Медведева о наличии дьявольской силы зла завершается фразой: «Уж лучше погибнуть в атомной схватке, чем жить по указке дьявола!»

Этот вопрос не только «домашний», это и вопрос большой политики. И философы бьются над ним не только из жадности приоритета перед другими общественными науками в поиске приемлемого решения. Это вопрос жизни. И потому не может молчать, не может обойти его своим вниманием большая литература. И потому долгие годы, обобщая огромный интеллектуальный потенциал науки и искусства, ищет свое решение этой проблемы Леонид Леонов. И потому навстречу ему из самых глубин народной жизни (географический феномен — вологодская Тимониха!) идет художник нового поколения Василий Белов.

Спрашивая, «что лучше...», герои В. Белова еще не дают окончательного ответа; они понимают, тут есть над чем подумать, подумать, что предпринять. Ведь Дмитрий Медведев,— чего не захотел или не смог в спешке, видимо, увидеть и показать своим читателям В. Лакшин,— не соглашается с однолинейностью

Иванова. Вот как протекает и как завершается этот «диспут» у В. Белова:

«...Иванов не был намерен шутить:

— Существует могучая, целеустремленная, злая и тайная сила, ты что, не знал? И мало кто сознательно выступает против нее...

— Ерунда! — вспыхнул Медведев. — Персонификация дьявола на пользу только самому дьяволу. Вспомни гоголевского Хому! Он погиб, потому что струсил и поверил во зло. Нечисть только тогда сильна, когда перестают ее игнорировать.

— Иными словами, мы ее сами создаем, так, что ли? — насмешливо заметил нарколог.

— Может, и так. Зло бессильно, пока не воплощено. А можно ли воплотиться тайно от всех?

— Я не сказал, что от всех... А воплотиться очень даже легко.

— Во что?

— Да во все! В эпидемию гриппа хотя бы. Или в бомбу Теллера. В войну между Ираном и Ираком, в эту вот штуку, наконец.— Иванов постучал по бутылке вилкой.— Ты знаешь, сколько у нас дебилов рождается?

Медведев для всех неожиданно согласился:

— Ты прав, я сдаюсь! Теллер, когда придумал водородную бомбу, сказал, потирая руки: «Только господь бог может сделать лучше». Каков жук, а? Как будто бог тем только и занят, что делает бомбы. Дьявольщина — это прежде всего демагогия, а демагогия — дьявольщина. На Западе дьявол использует в своих целях деньги, у нас — бюрократию...»

Далее Медведев рассуждает о принципе последовательности, о том, к чему приводит нарушение этого принципа (часть этого рассуждения мы уже приводили в одной из цитат выше). Медведев говорит, обращаясь к Иванову:

«— ...Взгляни вокруг трезвым оком и не спеша, ты

сразу узришь... С разрушением последовательности исчезают ритм и красота. В сущности, твой дьявол, Саша, ужасно антиэстетичен!»

В разговор вмешивается Вячеслав:

«— Я тоже терпеть не могу тайн, — сказал Зуев. — Но говорить в открытую о постельных делах, о своих зубах и желудках...

— Вот, вот! — поддержал Иванов шурина. — Об этом-то говорят все. В молодежных газетах уже появились сексуальные обозреватели. Сексологи пошли по Руси, сексологи! В Вологде, я слышал, медики открыли службу семьи. У женщин кисточкой ищут эрогенную зону...»

Здесь мы опять на минуту прервем разговор, — «сексуальная» тема романа вызвала наибольшее неудовольствие «женской» критики, или, точнее, ее наиболее эмансипированной части. Остается ощущение, что тема это несколько неожиданно врывается в куда более значительный и важный по проблематике мужской разговор. Ощущение это возникает из-за недосказанности: стоило ли отвлекаться в сторону от основного ради упоминания о вологодских кисточках?! Не стоило, пожалуй, и не стоило бы, если бы тема эта не имела продолжения и развития, и обобщения, причем, куда более значительного и существенного, которое делает Медведев все в том же разговоре:

«— Чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами, — сказал Медведев. — Достаточно поссорить детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам. Не так просто, но возможно».

Одна из критикесс по этому поводу восклицает: а что ж мужчины — так-таки и ни при чем?!

При чем! Мужчины расценивают это как житие «по указке дьявола» не в некоем мифическом будущем, а уже ныне, сегодня, сейчас, в своей стране. Поэтому, как ни страны, как ни маловероятны сексологи,

идущие по Руси, частное это явление ассоциативно оценивается Медведевым в русле всего предшествующего разговора как мерзость:

«— Не может быть! — фыркнул Медведев.— Неужто дошло до таких мерзостей? Феноменально! Но я говорил о другой мерзости — о мерзости организованных общественных тайн. О двойниках. Что такое свобода? Это не тайна. Это открытость, неразвоенная душа.

— Даже в камере? — подковырнул Иванов.

— Даже в оковах! Неразвоенный человек может сидеть в тюрьме, но он свободней развоенных, тех, кто зависит от тайных и нетайных организаций.

Зуев попросил налить, взял бокал:

— И все же почти все предпочитают духовную несвободу физической.

Иванов перебил:

— Не все. Славушко, не все. Уж лучше погибнуть в атомной схватке, чем жить по указке дьявола!

(Здесь, как мы помним, В. Лакшин ставит точку, а разговор, между тем, завершается лишь следующей фразой Медведева!)

— Я не уверен, что ты прав, — сказал Медведев задумчиво.— Максимализм тоже выгоден дьяволу...»

Суть, таким образом, в том, чтобы выставить беловских героев оголтелыми максималистами, твердолобыми, отказать им в праве мыслить за свой народ. Кому же тогда выгоден максимализм В. Лакшина, максимализм критики, отлучающей В. Белова от прикосновения, скажем, к городской теме или, еще более конкретно, к теме Бриша, штрихи к портрету которого выдают в романе его явно не респектабельный характер? Можно сказать, что такая критика сама бриш-кликушествует, занимается русофобией и т. д. и т. п., но вряд ли это будет верно. Скорее, здесь дает себя знать субъективизм, ощущение некой «свободы слова», «свободы маневра» и вообще большей творческой свободы в условиях перестройки и демократизации жизни общества,

субъективизм, не контролируемый ни внутренним редактором, ни требованиями времени к художнику — быть максимально честным в своем творчестве и объективным. Для художника, будь он прозаик, критик, поэт, озабоченного настоящим народом, перестройка — не лозунг, а действие.

П. Ульяшов, решительно во всем отказывая В. Белову как писателю, автору романа «Все впереди», все же заметил, что в этом романе «пожалуй, только Наталья Зуева да Бриш покажутся более или менее жизненными типами, отличающимися одна — пьянством и распутством, другой — цинизмом».

«Жизненные типы» — это уже кое-что! Особенно для В. Белова. Сумел-таки!.. В. Лакшин, по правде говоря, более прозорлив: «По-видимому,— говорит он, — как служитель и частица... тайного губительного зла, родственного масонству, и выступает в книге Михаил Георгиевич Бриш. Делец и ловкач, который может устроить все — от перевода по службе до заграничной поездки...», и на защиту которого, в случае чего, «пол-Москвы» почему-то всегда готово встать». Этот Бриш может устроить Медведеву и почетную ссылку — подальше от Москвы, может лишить детей отца, написать клеветнический донос, может посягать на жен своих друзей, продолжая называть их друзьями, и т. д. и т. п.

Похоже, отчужденное отношение критики к роману проявляется не только в обидных репликах в адрес автора, но и в своеобразном толковании героев романа. Иначе отчего же ни один из оппонентов В. Белова не поставил в заслугу Бришу, что в трудную для Любы минуту, когда Медведев был осужден, Михаил Георгиевич оказался рядом с ней, поддержал ее, ободрил, взял на себя заботы по ее содержанию и воспитанию детей Любы, не говоря уже о том, что помог Любе схоронить ее старенькую маму, а теперь вот готов тащиться с таким громоздким семейным обозом

в далекий, манящий, но и пугающий Арканзас?

Не оттого ли, что и здесь, в его отношениях с бывшей медведевской семьей, — расчет, цинизм, так откровенно и произвольно вырвавшийся наружу в вывернутой Бришем наизнанку песенной строке — наутро после той ночи, когда Вера, дочь Любы, ночевала у отца, то есть у Медведева: «Белая лошадь, белая ночь, белая гвардия тра-та-та дочь».

В. Белов скуп на краски в изображении Бриша, — такое впечатление, что писатель, зная меру низости своего героя, где-то даже щадит его, и из всех тайных пружин,двигающих Бришем, указывает на его рационалистическую подчиненность схематизму, вызывающую, с одной стороны, раздвоенность личности, а с другой — обязывающую его моделировать свои и чужие поступки. Делает он это сознательно, добровольно, и поэтому закономерно, что в жизни, чисто поведенчески, Бриш всегда седлает «третью лошадь»: во всякой ситуации он избирает не тезу, не антитезу, что должно быть сопряжено с ответственностью и убеждением, а синтез и всегда, таким образом, успеваает, при любых общественных перестройках, хотя бы на время, но оказываться впереди.

Для Бриша ни в чем нет нравственных преград, и это самое страшное. Во всем, кроме осознания себя как личности, Бриш более свободен (в том смысле, что не связан в своих действиях морально-нравственными принципами и обязательствами ни перед совестью, ни перед обществом, ни тем более перед законом), чем другие герои романа. Но свобода для него — это прямолинейность, граничащая с распушенностью и вседозволенностью. И Люба Медведева для него, какой бы падшей, временами, она ни была, — это бесхитрость женского сердца, бескорыстие, простота и даже самоотверженность женской привязанности, жертвенности, наконец, это и ласка ее, и нежность, и душевная теплота — одним словом, — дом, тыл, очаг, пусть и за-

хващенный обманом, порог, куда даже самый задрипанный кобель прибегает отлежаться, зализать следы когтистых лап на боку. Ладно — здесь, а там, в Арканзасе, Люба будет нужна ему еще больше по крайней мере, на первое время: ведь как бы то ни было, но только с ней Бриш может преодолеть страх хоть и желаемого, хоть и планируемого, но неведомого «арканзасского» грядущего, полного неожиданностей, и вероятно, не только приятных...

Наладив контакты с «французским одесситом» Мирским, Бриш в Союзе явно нарабатывает себе капитал для той, другой, жизни. В. Белов говорит об этом не в лоб и не столько даже намеками, сколько типичными поведенческими стереотипами героя, — прием, скажем прямо, не самый выразительный, но свидетельствующий о максимально возможной, по отношению к отрицательному персонажу, тактичности и объективности писателя.

Будем реалистами. Известно, тысячи евреев покинули в последние годы Советский Союз из желания, как они утверждали, воссоединиться с тель-авивскими родственниками. Известно, что Израиль — сионистское государство. И ехали туда не всегда с пустыми руками. Иначе траты на выехавших не возмещались бы там из фондов контор по «перекачке умов» или антисоветских пропагандистских центров. Теперь иные из них, обманутые, хлебнувшие лиха, возвращаются. Хотя вот Бриш, каким он показан в романе, вряд ли вернется, если только таковым не будет задание заокеанских боссов.

Для любознательных читателей. Подобный поведенческий стереотип миллионы советских людей могли наблюдать не так давно по телевизионной программе «Время». Интервью телевидению давала заокеанская гостя — некая Фанья Гонта. Играя на

жалостливых чувствах советских людей, зная гуманность нашего народа и правительства, Фанья Гонта получила разрешение вернуться из Америки в СССР. Красочно расписывая муки и унижения, которые она вместе с семьей испытывала на чужбине, Гонта не скрывала, что в США она оказалась по роковой ошибке — поддавшись соблазну сионистских призывов, увещеваний, обещаний и уговоров.

В искренность Гонты телезрители могли и, судя по всему, должны были поверить, и не только потому, что Фанья хорошо играла «раскаявшуюся», а с экрана телевизора в ее пользу молчаливо свидетельствовали по-нурые, грустные лица стариков родственников, наверное, и на самом деле уставших от выполнения приказов своей боевщи, но и потому еще, что как бы в преддверии прилета Гонты телевидение дважды продемонстрировало документальный фильм американского производства «Бывшие», в котором бывшие наши сограждане, жаждавшие окунуться в мир свободы и демократии образца MADE IN U. S. A., с горечью признавались в своем запоздалом прозрении. Отказавшись от родины, не сумев приспособиться к жизни в условиях капиталистического, дискриминационного общества, где сами понятия свободы и демократии равноценны лишь весомости кошелек, у кого он есть, они осознали себя лишними, чужими и чуждыми этой кичливой, высокомерной стране. Фильм о несчастных прозвучал с трагической правдивостью. Надо полагать, волна сочувствия, вызванная его демонстрацией у нас, достигла заокеанских широт. И там психологически точно рассчитали момент проведения «операции Гонта».

Свой фарс с раскаянием Фанья прекратила тотчас, как телеграфные агентства оповестили о ее благополучном прибытии в СССР, — ей сразу же все опротивело здесь, стало не по нраву. Причина сей метаморфозы оказалась банальна: как установил корреспондент «Литературной газеты», да и мировая печать подтвердила это, —

каждый шаг, каждый жест, каждое слово Фаньи были запланированы и исполнены ею по указке сионистских и разведывательных организаций из-за океана. Этими же организациями, как свидетельствует сама Фанья Гонта, выплачены полагающиеся ей сребреники.

Расчет провокации строился на том, что Фанье станут чинить препятствия в связи с ее требованием немедленного выезда из СССР. Поднимется скандал, а уж перья в отделах скандальных хроник были наточены — буржуазная пропаганда надеялась получить сенсационный материал для обвинения СССР в нарушении прав человека. Вот ведь как: нет фактов, так надо выдумать, подстроить такой факт... Но этот номер не прошел.

Более подробно обо всей этой истории рассказывается в корреспонденции «За взятку через океан и обратно», напечатанной под рубрикой «Антисоветизм. Как это делается» в «Литературной газете» (1986, 26 нояб., № 48). Правда, мы должны здесь оговориться, что некоторые читатели могут столкнуться со своего рода мистификацией, не обнаружив указанный материал в названном издании. Действительно, часть тиража «Литературной газеты» — какая именно часть, сказать трудно, равно как и затруднительно объяснить причины этого, редакция на сей счет объяснений читателям не дала, — вышла без упомянутой корреспонденции.

Не исключено, разумеется, что в ближайшей перспективе затея Бриша с Колпачным переулком, с получением выездной визы в какой-нибудь Арканзас, сорвется. Тут решать будет закон. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сущность натуры Бриша, проявляющейся в заданности намерений, в смоделированном им и осуществленном крушении семьи Медведевых, в создании провокационных ситуаций, от попыток «управлять» поведением и поступками того же Мед-

ведева или Иванова до расправы над ними за непослушание, — все указывает на двойственность личности, на служение ее силам и целям зла. Обязан ли при этом Бриш представлять всех евреев? Нет, и не об этом у В. Белова речь. А о том, что там, где сатана правит бал, обязательно есть чертенок. Правда, не такой невинный, как в старых сказках, одна из которых ожила в виде «шедевров» деревянной скульптуры в старинном Брянске, в городском саду, на потеху публике.

В том, что большинство «антибеловских» перьев схлестнулись на Брише, сомневаться почти не приходится, хотя из всех нападавших на роман лишь один критик признал это и сказал об этом прямо — честь и хвала за то Д. Иванову. Правда, если внимательно читать именно третью главку его обзорной статьи, посвященную непосредственно анализу романа «Все впереди», ни признания, ни прямоты этой можно и не заметить. Там, скорее, бросится в глаза кощунственный выпад против писателя, тем более обидный и оскорбительный, что извращается само представление о писательской работе как о призвании таланта служить народу и говорить правду народу о нем самом.

Вывесив флаги беспристрастия — «требуется, когда говоришь о таланте, судить бережно, а не небрежно», — Д. Иванов, уверенный теперь, что в предвзятости его никто не упрекнет, делится с читателем тем невероятным, что пришло ему в голову:

«...а вдруг да нарочно тот же Белов выставил себя под критический обстрел? Ведь теперь, когда на нем «пообточили зубы» (щенки, что ли?! — В. Г.), все «стрелявшие» (а то и дорвавшиеся до «пальбы») будут обязаны и всем, и всякому другому сказать столь же горькие и беспощадные слова в случае их неудач...»

Не будем придирааться к азартной охотничьей терминологии Д. Иванова — это в конце концов свидетельство вкуса. Но читая такое, поневоле задумаешься

о другом: пришло ли это в голову Д. Иванова или — вышло из его головы?!

В. Белов, как мы помним по исходному, изначальному тезису Д. Иванова, — «не сладил свою книгу». В завершение своих рассуждений о романе критик вновь возвращается к вопросу о том, почему же «роман все-таки не состоялся?».

«Только ли оттого, — спрашивает Д. Иванов, — как пишет В. Лакшин, что «уже в замысле был некий изъян, губительно сказавшийся на всем характере вещи. Яростная предвзятость, резко пристрастное отношение к изображаемым лицам мало способствуют объективности художника и вредят впечатлению».

Тут Д. Иванову впору бы оспорить В. Лакшина. Но сам тон, характер вопроса предполагает согласие, которое тут же и следует — с развитием!

«В этом наблюдении много верного. Но, думается, Белов не сумел сладить свою книгу и потому еще, что писал ее по-старому, писал с оглядкой, боялся воплотить и выразить то, как он — пусть предвзято, пусть пристрастно — понимал жизнь. Боялся — и разладился, и вольно и невольно ограничился непонятными, мало-значущими, невыразительными намеками».

Упреки, как видим, шаблонны — при всей видимости многообразия мнений, — кроме одного — в трусости. По этому поводу можно сказать, что среди многих приемов псевдолитературной критики, в последние годы особенно активно подвизающейся на поприще пропаганды и восхваления явлений маскультуры, критики, выдающей нечто за что-то, активно используется грубоватый по форме и сути прием-перевертыш, простенький, наивненький, но безошибочно посылающий в нокдаун. Пока рефери считает секунды, пока публика (и сбитый с толку писатель) опомнится, а слово-перевертыш уже улетело, пошло гулять по свету. Прием недозволенный, но все ли считаются с этим? Если ваш роман социальный, а вас надо унижить, да побольней,

то, не утруждая себя доказательствами, говорят, что роман — антисоциальный или внесоциальный. И так далее: исторический — антиисторический, народный — антинародный, классовый — внеклассовый. По этой же логике, если автор написал смелый роман, то писателя нельзя унизить более, сказав, что он боялся написать смелое произведение...

Положение усугубляется тем, что на практике такого рода «критиков» нередко и за руку поймать нельзя. Вернее, поймать-то можно, да вот органы печати, где такие критики высказываются, как правило, не предоставляют трибуну тем, кто может, хочет и пробует выступить с опровержением.

Что же до Д. Иванова, то «за руку» он ловит себя сам — надо полагать, по неосмотрительности или в силу недостаточно квалифицированной редакции его статьи.

Говоря в другой главке своей статьи, посвященной Ч. Айтматову, что «вся сегодняшняя наша литература» пока еще не посягает на изображение людей, ответственных за зло, Д. Иванов вдруг проговаривается, правда, в скобках, что... «(Белов — единственный, кто в фигуре Бриша попытался воплотить такого героя, но неосновательно взвалил на него всю ответственность)». Скобки подчеркивают, что роман «Все впереди» — как бы в стороне от «всей сегодняшней нашей литературы», да и собственному замечанию критик особого значения не придает. Однако если Белов единственный, кто попытался... и даже если он взвалил на Бриша больше ответственности за зло, чем это выходит по меркам Д. Иванова, то не значит ли это, во-первых, что и сам Д. Иванов, в большей или меньшей степени, считает Бриша ответственным за то зло в романе, которое изображает В. Белов, и, во-вторых, не следует ли из этого, что В. Белов все-таки не боялся, а смело выражал и воплощал в романе свое понимание жизни?!

И еще из этого следует одно: откровенность в суж-

дениях о литературе и предвзятость несовместимы и мстят автору тем, что вынуждают его к оговоркам, к саморазоблачению, делают очевидной для читателя методологию нарушения принципа последовательности.

Фигура Бриша на все в романе бросает свою тень. Он нигилист по натуре. Живое вокруг него увядает, меркнет, все, подчинившееся ему, становится рационалистически рассудочным. Удивительно, но он, кажущийся воплощением благополучия, никому не несет радости, даже Любе, даже себе. И сколько света вокруг, сколько деятельной энергии исходит от Медведева, хотя его-то судьба от внешнего благополучия далека! Перед нами герои нравственно разных полярностей. И это примечательно и важно не только для идейного понимания романа, но и для понимания его художественной природы.

Говоря объективно и не вставая в позу обиженных за русский народ, со всеми противоречиями и недостатками, увиденными критикой и обращенными к таким персонажам, как Медведев и Иванов (исключая, разумеется, заведомую клевету на них), увиденными, но, к сожалению, не объясненными, не рассмотренными в соотношении с местом, временем, условиями действия, — можно согласиться. И даже следует! Да, это далеко не безгрешные ангелы. Да, и они несут каждый свою ответственность за то зло в романе, которое видели и которое не сумели или не захотели предотвратить. Да, где-то, когда-то и они мещане, и оттого так близки порой по типу поведения, по фразеологии даже, по логике поступков тому самому Бришу, Михаилу Георгиевичу, негативную сущность которого некоторым критикам хотелось бы опровергнуть, да только вот делают они это некорректно: Бриш плохой? А у Медведева, дескать, тоже рожа кривая..

Противоречия здесь нет, тем более что речь не идет о примитивном делении героев на «положительных» и «отрицательных», на плохих и хороших. Но если

в романе, от первой ко второй книге, раскрытие образа Бриша дается по восходящей в русле одного и того же в своей основе характера, одного и того же сознания, подчиненных, в совокупности, неизменной заданности (а определенная социальная среда слепила этот тип еще в школьные годы героя, позднее,— так уж судьба благоволила Бришу,— вместе с опытом борьбы за свое место в жизни шло накопление и отработка приемов, методов, средств достижения цели, с годами все более циничных и изощренных), то Медведеву и Иванову судьба предоставила возможность не только переосмыслить свое жизненное назначение, но и изменить в какой-то мере характер, тип поведения, если угодно, наконец,— свою социальную функцию.

Мы уже говорили, что роман «Все впереди» — произведение по своему пафосу и содержанию откровенно антимеркантистское. Это можно утверждать однозначно даже в том случае, если бы кроме развенчания меркантилизма и вскрытия его деструктивной сущности на примерах Любы и Бриша в романе ничего больше не было. Но В. Белов и тут остался верен себе, верен всегда нравственно-созидательным принципам своего творчества. Его и сила, и слабость как художника в том, что он не способен разрушать в творчестве. Так, если одни утверждают, что добро должно быть с кулаками, а другие говорят, что предпочитают кулак с добром, то В. Белов отрицает и то, и другое. Он может только строить, созидать в творчестве. И это, надо заметить, вообще типично русская черта, идет ли речь о литературе или о жизни. При этом, правда, нельзя забывать, что созиданию предшествует очистка строительной площадки от мусора. Такое очищение предшествует созиданию, это начало его. И в романе В. Белов, грубо говоря, едва ли не за шиворот берет Медведева и Иванова и выволакивает их из засасывающего болота. И роман становится антимеркантистским уже потому, что во вчерашних обывателях от науки откры-

вается лицо нового времени — герои нравственно и философски прозревшие, готовые принять на себя, а не сваливать на кого-то ответственность за настоящее, за наш день прежде всего, и в конце концов за будущее — критически и трезво осмысленное.

Прибегая к романной метафоричности, можно сказать, что герои В. Белова укоренились во времени и, значит, обрели связь с народом. В этом именно контексте сравнение медведевской геральдики с родословным деревом, что ненадолго задержало внимание Дмитрия в юности, теперь обретает более строгую и значимую образность, вещественность, мыслиемкость. То родословное дерево, как мы помним, «обнаружило странное свойство: оно росло как бы в обратную сторону, переворачивалось с ног на голову, крона преобразовывалась в систему корней». Но ведь так именно обеспечиваются связи ушедших поколений с грядущими. И так ведь именно и бывает с нами в жизни: вчера еще мы были молоды, веселы, беззаботны, ветер играл нами, как зеленой листвой на том родословном древе, а вот уже и от нас пошли побег, отросточки, и сами укореняемся глубже, давая простор другим... И понимаем: чем прочнее и раньше растаем корнями в жизнь, тем меньше возможностей и соблазнов испохабиться, превратиться в некое «промежуточное» существо между прошлым и будущим.

Конечно, так хотелось бы и так славно было бы закончить разговор о романе на мажорной, радостной ноте... Увы, это был бы едва ли не самый печальный вариант прочтения В. Белова. «Все впереди» — роман тревог. Но что же тогда не дает покоя, заставляет вновь и вновь возвращаться к понятиям, кажется, и понятным «жаждущему справедливости» Иванову и «прозревающему будущее» Медведеву, которые во многом рождаются, но во многом и дополняют, проясняют друг друга?

Не это ли: гражданственно-патриотическая устрем-

ленность обоих героев сводится, в общем-то, к простой, но оттого не менее значимой для всех нас истине. Истине взыскующей: если в жизни немало грязи, пошлости, мерзости, если мы понимаем, что кто-то должен бороться с сатанинским злом и кто-то должен быть в этой жизни порядочным, — то кто это, если не мы?!

Кто, если не мы?

Возможно, это и есть стержневой философски-нравственный постулат, к которому приходят герои В. Белова, он сам, и мы, его читатели.

В противоречие с этим выводом, в эмоциональное, видимо, противоречие, до боли в сердце, входит последняя, заключительная сцена романа, диктующая и основной вопрос, его основную смысловую интонацию — что впереди?

Между Ивановым и Медведевым происходит здесь крупная ссора из-за детей Медведова: позволить им уехать с Бришем из страны или воспрепятствовать этому.

Медведев еще не решил...

Иванов негодует:

« — ...Ты предал своих детей!

— Прекрати, говорю тебе! В гневе мы теряем остатки мужества.

— И когда это ты научился говорить афоризмами? Залюбуешься... Это самое сделало тебя таким... жалким?..

— Замолчи! — Медведев остановился и побелел. — Или я врежу тебе...

— Я сам тебе врежу! — тихо сквозь зубы произнес Иванов и, сжав кулаки, напрягая челюсти, придвинулся ближе.

Оба замерли. Они сверлили, пронизывали друг друга глазами. Их обходили, на них оглядывались, а они стояли, готовые броситься друг на друга. Это было как раз посредине моста...

И Москва шумела на двух своих берегах».

Москва?!

Река! Или город?!

Или и то, и другое?.. Опять символ, опять метафора — граница разрыва и соединения.

Не хочется прибегать к банальным эпитетам, перечислять имена писателей, с философско-художественными достоинствами прозы которых можно сравнить трагическое звучание и этой последней сцены, и всего романа В. Белова. Но вот в цеховых своих спорах и, видимо, в запальчивости обиды на наших редакторов мы, бывает, говорим, что появись сейчас Достоевский со всей наготой правды и боли в его романах, — нет, не напечатали бы. Не поняли бы, не оценили, побоялись бы... Теперь, после «Все впереди» В. Белова, сомневаться грешно: приди и Достоевский — напечатают! Опубликуют.

А сцена на мосту — это извечная трагическая болезнь русской интеллигенции и русской народности в литературе вообще — разобщенность. Со времен «Слова о полку Игореве» призывает народ своих князей к единению, а мы?.. Мятущиеся, сомневающиеся, страдающие, упивающиеся своей сострадательностью и так любящие себя, себя, себя, что с кулаками друг на друга готовы, когда и надо-то всего малость — вместе идти. Вместе радеть за отчизну любезную.

И в философском плане это единственный путь, не позволяющий Бришу оседлать третьего скакуна, ту самую «белую лошадь», что в конце концов вполне логично трансформируется в образной структуре романа в приснопамятного троянского коня...

«Все впереди» — это роман контрастов. Тени здесь тем гуще, резче, чем ярче падающий на них свет. Никогда прежде, при всей выразительности языка, образности и пластичности прозы В. Белова, ему не удавалось столь гармоническое соотношение частей и противоположностей, частей и целого и распределение в этом

соотношении светотени по закону золотого сечения искусства.

Первая часть романа всем своим содержанием зримо противопоставлена второй, — с какой стороны ни взглянуть! Завязка — развязке. Мещанское бытие — антимещанскому протесту. Подозрения — убеждениям. Победы — поражениям и наоборот. И даже в восприятии романа в целом это внутреннее противостояние частей, созданное писателем вполне осознанно, играет свою роль: первую часть он как бы вовлекает, втягивает читателя в стихию внешне спокойной, ироничной, становящейся постепенно все более напряженной нравственно-философской прозы — это штиль едва всколыхнувшегося перед грозой моря; во второй части — накал борьбы ураганной силы — борьбы идей, эмоций, чувств, поиск спасительной лодки, чтобы найти свой берег, добраться до него...

Несущая форма духовного бытия народа и литературы — язык — выступает в романе в столь резкой контрастности, тождественной всякий раз строго взвешенному и продуманному замыслу автора, что невольно приходит мысль о найденном магическом перстне русской словесности... А впрочем, нет, все гораздо проще: не будь В. Белова с его «Привычным делом», «Канунами», «Ладом», даже с его «Речными излуками», не говоря уже о «Воспитании по доктору Споку», вряд ли мы имели бы и «Все впереди» с его осязаемой, ответствующей материалу жизни, пластичностью, гибкостью и выразительностью языка.

Роман дает любопытную возможность сравнить, как меняется язык в соответствии с задачей автора при описании, в сущности, одного и того же предмета в разных сюжетно-психологических ситуациях (а в скобках заметим: не хочется думать, что такая возможность умышленно предоставлена автором, словно ожидавшим нападков и упреков критики при встрече с непривычным, с не беловским, как им кажется, язы-

ком), — например, при описании видения белой лошади наркологом Ивановым.

«Не желая спугивать необычно отрадное свое состояние, Иванов тихонько вылез из машины и ступил ближе к туману и полю. Звуки не стали его преследовать. Он остановился и вдруг вдалеке увидел белую, скорее всего цыганскую, лошадь. Она щипала траву и была намного белее тумана. И все это — сочетание тумана и прекрасных звуков, видение белой лошади и запах теплой земли — обескураживало, заставляло вспоминать нечто необыкновенное и забытое, но, по-видимому, самое главное. Но что же в жизни самое главное?»

А вот — та же лошадь, но совсем иное состояние Иванова, да и Люба, с которой ассоциативно вспоминается лошадь, уже совсем другая для него (между двумя этими описаниями стоит «роковой» для героев В. Белова Париж):

«Белая лошадь стояла в глазах. Белая лошадь расплывается в сером тумане! Он, жаждущий справедливости Иванов, слышал ее ночной топот и ржанье. Она ржала, когда останавливалась, эта Белая лошадь. «Ржала, ржать». Слово утратило свою первоначальную чистоту, оно стало выражением цинизма. Неужели дурная судьба преследует даже слова?..»

И едва ли не как пояснение к произвольно выбранному нами тексту для сравнения — мнение Медведева, которое следовало бы адресовать критикам, отказывающим автору и роману в привычном «беловском» языке, либо вообще людям, не чувствующим слова: «полнокровными словами выражаются полнокровные и явления, а выхолощенный язык превосходно отражает дурные свойства самой жизни».

Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить!..

Движение ведущей мысли романа — от «духовной импотенции» до «уважения к великим человеческим тайнам», уважения, ставшего нормальным медведев-

ским состоянием, равно как и все художественное развитие образов романа, так же подчинено золотому сечению искусства.

Взять хотя бы семейную пару Зуевых. Вячеслав и Наталья, при всей их противоречивости, воспринимаются как целое, как единство светлого и темного, горького и радостного в их судьбе, счастливого и несчастливого, — единство, переданное в невообразимой гамме контрастов и переходов.

Эту целостность единства подчеркивает и придает ей высокий смысл дело Зуева — создание копий ушедших кораблей. Обратимся же к описанию этого дела, ставшему смыслом зуевской жизни:

«Зуев жил благодаря своим ретроспективным созданиям. Вначале они выплывали из прошлого зыбкими волнующими видениями, затем, после долгих поисков нужных книг и переписки со знающими людьми, воплощались над его верстаком в полные смысла, но еще мертвые медные, деревянные и веревочные детали. Наконец эти детали соединялись в одно целое и становились живыми. Единство их поглощало, принимало в себя утомительную множественность, рождая взамен целостный образ».

Но ведь в этой, последней, фразе еще и целая эстетическая концепция, закон, полностью распространяемый и на роман «Все впереди»!

Принцип уравнищенности и гармонии раскрывается и в описании Москвы, которая из формального места действия стала полноценным художественным образом романа, действующим лицом, а отнюдь не искореженным противоречиями мегаполисом, лицом, одухотворенным писательской любовью и любовью его героев. Надо думать, создание именно такого образа не было творческой самоцелью автора. Не одно лишь державное положение столицы, но и нравственная причинность связывает ее в нашем сознании с судьбами отечества и героев романа. И может быть, глубочай-

ший, трагического финала достойный подтекст, приоткрывающий эту связь нашему пониманию, сокрыт в одной фразе романа — в сцене, следующей после посещения Любой райисполкома, где решалась судьба Ромки, после того как Люба с сыном ушла, не оглядываясь, а Иванову вдруг показалось, что если ее окликнуть, то она остановится, повернется и бросится с сыном назад, к Медведеву, но ее никто не окликнул,— автор заключает: «Москва поглотила Любу вместе с плачущим мальчиком».

Говорить о романе можно еще и еще. Тут каждая страница дает пищу для ищущего сердца и жаждущего ума. Нам же хочется завершить разговор мыслью о том, во имя чего роман написан, тем более что мысль эта перекликается со смыслом наших деяний, нашей жизни.

Проходя мимо стражей порядка у входа в Третьяковскую галерею, Дмитрий Медведев говорит им:

«Салус попули супрема лекс эсто!»

Он шел с Верой, дочерью, шел со своим счастьем, своей надеждой, своим прошлым, настоящим и будущим, шел с новым поколением, для которого, как завет, прозвучали те же слова на русском:

«Благо народа да будет высшим законом».

И Москва, Москва шумела на двух своих берегах...

1986—1987 гг.